

Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Рассказы



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Н ь ю - Й о р к

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Рассказы



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

Copyright, 1952, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

ЦЫГАНЕ

ПЕРВАЯ КРАЖА

«Тц» — как звук ящерицы — и Гэто замирает: — где-то здесь, в крошечной тьме — сбоку, позади или впереди — отец подает знак.

Вот она, главная минута: крались от избы к избе, томительно долго ползли между гряд огорода, теперь конюшня и — лошадь. Сердце сжалось в комок, стоит в горле. С трудом улавливает шопот отца и через минуту, посаженный ловкой рукой, проскальзывает в маленькое оконце. Парной воздух конюшни, всхрап лошади, картавая воркотня разбуженных голубей на сеновале, рука нащупывает крючок двери.

Но Гэто помнит это слабо, он вновь стал сам собой — десятилетний цыганенок — только сидя за спиной отца на крупе украденной лошади. Его охватило веселое возбуждение и хотелось подстегнуть лошадь — они двигались по спящему селу спокойным шагом, даже собаки не лаяли, только гавкали — пока не достигли околицы. Здесь отец снял тряпки, ими были обмотаны копыта лошади, вскочил и сразу подобрал поводья.

— И-ить! — взвизгнул отец, и началась скачка.

«Тпрути-тпрути» — отстукивают копыта лошади, и Гэто хочется кричать, махать руками, он пьяный от восторга: украли у самого станового. Украли лучшую лошадь, и он, Гэто, участвовал в этом деле! «Тпрути-тпрути» — эх-ма, веселись цыганская кровь. Пропал

дай голова, ничего не жалко, все за этот миг — гуляй, удалец, веселись. «Тпрути-тпрути».

**
*

Солнце припекает спящего в траве цыганенка — руки раскинуты, пальцы сжаты горсткой, одна штанина засучилась, на лице счастливая улыбка.

Подходит отец, дернул его за ногу:

— Вставай, Гэто.

В густом тальнике серый в яблоках жеребец сердито отмахивается хвостом — слепни — сочно хрустит душистой травой.

Пришли отец и сын, любуются.

— Бабки-то видишь какие.

— А ноздерки-то.

Гэто в восхищении крутится около лошади, пролез под ее брюхом, поправил взлохмаченную холку. Отец любовно приглаживает шерстку лошади.

— Зачем мы здесь? — спрашивает Гэто.

— Прячемся. На дорогах сейчас везде караулы. Переждем недельку и спокойно дальше.

Гэто не выдержал, взял лошадь за морду и прижался лицом:

— Терпоро граст, — лошадка моя молоденькая! — шепчет в умилении.

**
*

Отец с сыном сидят на траве, едят хлеб с луком. Солнце уже низко. В тальнике порхает какая-то птичка и вот она на опушке, качается на ветке. Кузнечики ошалело трещат в траве. Недалеко, в лесу, идет своя жизнь. Птицы начали вечернюю охоту за мошками, носятся в воздухе.

Внезапно отец застыл с куском во рту. Бесп-

койно сверкнули белки глаз, распластался и пополз в траве. Замер, растянувшись, и Гэто, только голову поднял, как змея. Вскоре послышался голос отца:

— Мужики! Засада.

Гэто понял — бежать. Быстро собирают сумку, приводят в порядок лошадь.

— Сюда, цыган! — хлопает отец по крупу лошади, указывая место Гэто.

Едут вдоль речки, прячась в тальниках.

— Стой! — перед ним мужик, в поводу лошадь, через плечо ружье.

Под сильным рывком жеребец поднимается на дыбы, поворот на задних ногах — рванулись на открытое место.

Грянул выстрел, раздались крики, Гэто на скаку обернулся — перед ним оскал скачущей лошади, на ней мужик, вскидывает ружье. Гэто видит страшную дырку — отверстие ствола. Не помня себя, дергает повод в руке отца, лошадь делает скачек вбок, огонь, дым, сладкий запах пороха. Наперерез мчится другой мужик.

— Па — элей! — вскрикивает отец и они скачут уже в лесу.

Ветви хлещут по голове, еще минута и спасенье, но лошадь споткнулась, припала на колени, и Гэто через голову отца летит на землю. Со всех сторон крики — для одних это торжество, другим неминуемая гибель.

**

Дым костра, поднятые к небу оглобли телег, звон походной наковальни. Около пасутся стреноженные лошади, бродит собака, на свободе спит бурый медведь. По табору бегают полуголые мальчишки, головы их от взлохмаченных волос шире плеч, девчонки

в юбках до земли, цыганки в мнистах. На согнутом дугой дереве прилажена люлька, около нее цыганка, на худощавом лице пламенем горят большие черные глаза. Там и здесь мелькают яркие платки молодых женщин. Между колесами телег, завешанных тряпьем, видны то ноги, то голова отдыхающего цыгана. В изодранном черном шатре возится старуха. Из большого котла — висит на цепях над костром — вкусный запах варева, приближается время ужина.

Щурясь на солнце, вылезает из-под телеги цыган, блаженно потягивается и идет к соседней телеге. Под ней видна голова старого цыгана, равнодушно жующего травинку.

— Хэ. Что слышно?

— Увели, — вынимает травинку изо рта старый цыган.

Вглядываются в поле, уже подернутое предвечерним туманом, — там, в направлении табора бредет какой-то мужик.

— Видишь?

— Наверное становой послал, — усмехнулся старый.

Яростный лай, крики мальчишек, отгоняющих собак, к табору подходит десятский Яков, важно выпятив грудь, где блестит бляха.

— Здорово, цыганский народ. Где у вас старший?

— Мы все старшие.

— Ну, который, значит, постарей.

Якова направляют к телеге, где лежит полуголый старик.

— Эй, становой требует, чтоб завтра утром ты пришел к нему.

— Чего я пойду?

— Раз приказано, то и пойдешь. Лошадь у него украли.

— Лошадь украли? — разинул рот цыган, — Лошадь у станowego украли! — кричит он в табор.

Пораженные новостью, все сбегаются, окружают Якова.

— Да чего вы, — смеется Яков, усаживаясь около телеги, — сами же поди и украли.

— Всегда так — мужики украдут, а на цыган слава.

Наперебой пытаются Якова: как украли, когда, напращиваются помочь ловить воров. Десятскому порой кажется — и правда, табор непричем.

Старый цыган вылезает, наконец, из-под телеги и, подтягивая штаны, решительно говорит:

— Иду к становому.

— Так ведь — завтра...

— Нет, сейчас пойду.

— Его же нет, он уехал с мужиками ловить воров, — заявляет Яков и в ту же минуту вспоминает приказ не говорить цыганам об отсутствии станowego.

— Не мог цыган украсть, цыгане не ломают замков, — настаивает старик.

— Так и не сломано, через смотровое окошко кто-то пролез, должно мальчишка с ним был.

Цыгане еще раз переглянулись.

— Нам воровать, — заявляет молодой цыган, запуская руку в карман — зачем нам амэ барвало — мы богатые, — он подбрасывает на ладони серебряки, вытащенные из кармана.

Какой-то цыганенок подшибает ему руку, монеты подсакивают и рассыпаются по земле. Цыган хохочет и равнодушно садится рядом с Яковым.

— Да подбери хоть! Я бы такого безобразника... — ворчит Яков.

— Ну, еще подбирать, — машет рукой цыган, — вот смотри, — вынимает он из другого кармана цел-

ковый. Зажал его между пальцами и размахнувшись запустил в небо.

— Эх! — хватился за сердце Яков.

Цыган, оскалив зубы, показывает ему прижатый к ладони целковый — фокус.

— Ну и народ, — не удержался Яков, — зачем только вы небо коптите?

— Цыгане народ хороший.

— Никудышный народ. Цыган с дерзостью себя понимает, ничем не дорожит. Своего ничего нет, потому и чужое взять считает не грех.

— А какая радость иметь?

— Жить надо по-человечески... А то у вас все с собой. Нарочно с места на место ездите, чтоб не обрастать.

— Хэ. Пускай. Зато сам себе господин.

— Даже пес и тот в свой двор умирать идет.

— Умирать все равно где.

— О Боге надо бы думать.

— У вас в деревне каждый трясется над своей костью — много он думает о Боге? Нет, не жить волку в собачьей конуре, а цыгану в деревне.

Яков мрачно ковыряет палкой землю. Не слушая цыгана, размышляет вслух:

— Я вот из солдат пришел, ночи не спал, пока не обзавелся. По-маленьку, по-маленьку и вот, сам собой раздышавшись, и должность имею. — Яков хотел ударить себя по бляхе, но ее нет. — Стой, черти, бляху украли!

— Да ты без бляхи пришел.

— Отдай, тебе говорят! Отдай, ребята, добром, за что человека обижать.

Бляху достали из-под Якова.

— Ну вас, в самом деле. Пойду лучше, — поднимается он.

Подбивая носком землю на вытоптанной тропинке, Яков удивляется — как пыль тяжелеет к вечеру. Думает о цыганах: откуда народ такой, как он сохранился, какая за ним правда. Вспоминает наготу цыганских детей, бедность табора и вместе с тем, такая беспечность, веселье. В деревне кажется после табора душно, горестно и трудно.

Издалека донеслась до него песня, звон бубен. Яков оглянулся: свет костра уже яркий, около мелькают какие-то чертенята, в кругу пляшет цыган, бубны бьют, цыганки подпевают.

**
*

Гэто ударился об землю так, что в шее хрустнуло. Но с проворством зверька он уже на ногах, зубы хищно оскалены, глаза блеснули — доля секунды, он все ухватил. Отец взбирается на лошадь, одна нога уже закинута, другая в воздухе, на ней повис мужик. В лесу хруст ветвей, спешат на помощь.

Стрелой кинулся к мужику, подпрыгнул и острыми зубами впился ему в затылок. Поташа он его за полу, мужик бы только отмахнулся. Но от испуга он заверещал, испугавшись, выпустил отца. Следующий миг отец на лошади, взмах нагайки, лошадь рванула, цыган несется, на ноге его висит Гэто, отец подхватывает его, не оборачиваясь, свободной рукой. Хлещут ветви, лошадь скачет через бурелом, лес редее, выскочили на дорогу.

— Па-элей! — пропащим голосом вскрикивает отец, и лучшая лошадь станового оправдывает себя: мужиков сразу неслышно.

Промчавшись в бешеной скачке верст десять, отец останавливается, оскалил зубы, повернувшись к сыну:

— Эге, цыган?



Часами прятались в перелесках, забирались в гущу непроходимого леса, крутили, делали петли и вот под утро — пепельный свет приближающегося дня — опять около речки, в тальнике: то самое место, откуда бежали. Гэто понял хитрость отца — мужики считают этот участок просмотренным, не стоящим больше внимания.

Убрал лошадь, разлеглись в траве. Стоят над Гэто звезды, смотрят на него. Там, на небе, есть поди и цыганский Бог. У него золотая лошадь, копыта черненого серебра, а сам Бог непременно в шапке и кумачевой рубахе. Он любит вольного цыгана, всегда ему лошадь укажет и поможет увести. Закрыв Гэто глаза и перед ним шея мужика, жирные складки, нехороший дух жилья. Когда Гэто вырастет, будет добрый вор. Пусть мужики поймают его и убьют. В прошлом году он ходил прощаться с убитым из их табора. Он, Гэто, поцеловал мертвые очи удальца. А вечером в таборе была пляска, и Стэн, товарищ убитого, стащил водку из запаса, плясал и плакал, пел песни и рвал на себе рубаху.

В Т А Б О Р Е

Пыльная проселочная дорога. По ней, на самом солнцепеке, идут цыганки. Одна старая, в морщинах, другая — девочка. Обе босые, простоволосы, в страшных лохмотьях, но у обоих серебряные серьги, на груди ожерелье из продырявленных монет, а у старой медное кольцо с бирюзой, на запястьи браслеты. Идут, никогда не притулясь, браво, подол через руку.

— Тц, — слышится из густого кустарника. Оглянувшись назад и по сторонам, цыганки сворачивают к обочине. Старая порылась в лохмотьях и вытащила кусок хлеба. Цыганки закусывают. Из кустов шопот:

— Я — Гэто. Скажи в таборе: мы около речки, на той стороне, верста вниз от трех сосен. Отец хочет говорить с кем-нибудь.

— Хлеб у вас есть?

— Бакхало, — голодные.

— Жди здесь вечера. Пойдем обратно, принесем чего-нибудь.

Оправляясь на ходу, цыганки идут дальше.

**
*

— Мам, цыганки!

— Тьфу им! Где?

— Вон по улице сюда идут. — Даша приставила ладонь к глазам, присматривается. — Мам, пусть повержат.

— Да ну их. Только сопрут что-нибудь.

— Я присмотрю.

Цыганки заметили стоящих во дворе женщин, сворачивают:

— Поворотить, хозяйка? Дай Бог тебе прибылью миновать убыль. Ах, чтобы ты знала, чего сейчас не знаешь.

— Стара я ворожить.

— Дай твою руку, старая. Забот у тебя много, а все напрасно. Главную-то заботу не видишь.

— Иди, иди.

— Не гони, мне тебя жалко. Каяться будешь. Сердце у тебя беспокойное, ясное солнце.

— Иди, нет у меня про вас денег.

— Зачем цыганке деньги, горькая твоя судьбина? Ой, как много ты горя приняла. Давай руку.

— Дай, мам.

Цыганка склоняется над ладонью.

Даша присела на крылечко, не сводит глаз с молодой цыганки: непроницаемые черные глаза, странный цвет кожи, орлиный нос, своевольный рот. Даша просватана, у ней много дум. Глядит на цыганку и ее серые глаза наполняются слезами, кончик веснущатого носа покраснел.

«Сестрица — цыганочка, а твоя бабья доля какая будет? Коров доить, навоз возить, мужик пьяный будет тебя бить — на какую радость ты расцветаешь?»

Хочется ей заплакать. Кажется, что здесь, на этой же самой земле, есть другой мир, где и бедность ни почем, где доля людская радостна и свободна. Ох, и зачем только они пустили цыганок — сердце растрескали.

**
*

Становой сам приехал в табор. С ним парень, тоже на коне. Вид у станowego хмурый — три дня прошло, а лошади нет. Избить бы этих мужиков, что упустили конокрадов еще в первый день.

— Вот вам мой последний сказ: пока лошадь не найду, табор никуда с этого места не двинется. И насчет податей тоже еще посмотрим.

Цыгане — они окружили станового кольцом — переговариваются по-своему.

— Да причем мы тут, — выдвигается какой-то плечистый, — сам говорил: не пойман, не вор. Мы все здесь налицо, хочешь по бумагам проверь.

— Все вы на одно лицо, черти. Числом-то может быть и в порядке...

Не хочется становому уезжать ни с чем. Чувствует — силой ничего не сделать.

— Кажись я вам ничего плохого не сделал, — начинает увещевать, — как вам не совестно лошадь у меня красть. Я на эту лошадь может год копил. Она мне дороже сына. Совести у вас нету.

— Так ты ее тоже краденую купил, становой. Конь-то российский, заводских кровей. Третий раз эта лошадь через цыганские руки проходит.

Становой молчит, задумчиво крутит ус.

— Э, батюшка становой, яхонт, чего будем судить, — проталкивается цыганка с картами, — позолоти ручку, увидишь своего ясного коня.

Становой усмехнулся.

— Сколько?

— Сокол ты наш, почто спрашиваешь? Клади пятисотенную да и все тут.

— И часы серебряные с двумя досками, — добавил кто-то из толпы.

Становой молча оглядел толпу, особенно остановившись на любителе часов с крышками, и решительно повернул коня в сторону села.

— Да что вы сегодня все неправильно делаете, — заступил дорогу становому старый цыган, — вот сейчас мы сговоримся по-хорошему! Слезай с коня, становой, — ты гость наш.

Старик захлопал в ладоши и из большого шатра высыпали молоденькие цыганки. Платки красные, зеленые, желтые, пунцовые. Волосы прибраны, монисты звенят. Идут гурьбой к становому, локотки прижаты к бокам, пятками подкидывают длинный подол, впереди раскрасавица, семнадцатилетняя Орийка, глазом жжет, несет поднос с вином.

— Сударь-барин, — грянул хор, — виноградьё краснозеленое...

Орийка, стрельнув глазом, в пояс склонилась перед становым, на вытянутых руках поднос.

Завеселел луг от ярких цыганских платков, голова ни на что не похожие, сжалось сердце, в голове туман, а больше всего — лукавые, распроклятые глаза Орийки. Как ни крепился становой, но на первой же песне его завертело, понесло...

Провожая, старый цыган примирительно говорит:

— Сегодня не столковались, завтра будет лучше. Приезжай завтра — гостем будешь, песни сыграем. Чего-то она враз смутная стала, — добавил он озабоченно про Орийку.

**

Парень, сопровождавший станового, приехал к себе на двор, взялся за вилы, метать сено на сеновал. С сердцем поднимая зараз целые копны, быстро справился с работой и швырнул вилы в сарай.

— Ленька, — выходит мать из коровника, — принеси соломы на подстилку.

— Неси сама.

— Да какая муха тебя укусила. Ты что — сдурел?

— Сдуреешь с вами, — огрызнулся парень, — работа да работа, а жизнь где?

— Сглазили его, что ли, — разводит руками ста-

руха, — такой покладистый парень и вдруг накатило — от работы отрекается.

**
*

Через день мать говорит Ленке:

— Становой-то третий день пропадает у фараонова племени. Девка его там привораживает. Смеется на него, а ему ни вздумать, ни взгадать, не видит ее хитрости да прелестные слова. Как к мизгирю в тене-та попал.

— Туда и дорога.

— Коня угнали, теперь самого оберут.

— Оберут, так честно — с песнями.

— Поди, казенные деньги уж несет. Давеча этот вьюн, писарь, здесь был, болтал. А эти цыганские те-терьки так по селу и рыщут.

— Как же, мать, старики говорят: не бойся того, кто песни поет?

— Не к тому случаю. Нечего на стариков слать-ся, своей головой живи.

— Да разве я шлюся — так, к слову.

Ленька тупо глядит в угол — перед ним дымный костер, цыгане, заказанная ему вольная жизнь.

**
*

Становой открыл глаза — телеги, шатры, цыгане бродят по табору, у костра еще лежит скатерть, на ней остатки вчерашнего — пряники, орехи, леденцы, сладкая наливка. Во рту мерзко. Ну и нализался. Поко-сился — сбоку сидит цыганка. Грязные седые патлы, во рту трубка, безучастно глядит перед собой.

— Проспался, сокол наш?

Становой смутно вспоминает вчерашний угар. «Тьфу, плакал, кажется». Всплывает еще гнусная картина — он в растегнутой на груди рубашке, пляшет и ноги заплетаются.

— Эй, принеси стаканчик опохмелиться.

Цыганка будто ждала этого: порылась в тряпье, что надето на ней, вынула бутылку, стакан, огурец.

Водка сразу оживила. В голове поплыл туман. Захотелось поговорить хотя бы с этой старой.

— Орийку жалко, погибнет она в таборе.

— А ты выкупи, — пыхнула трубкой старуха, — полонил ты ее своим плясом.

— Смеешься?

Старуха молчит. Странна мертвая чернота этих глаз при седой голове.

Водка палит где-то дальше. Становой раскинулся на спине, глаза в небо. Представилась Орийка его женой. Нет, это не то. Да и что за жизнь вольной пташки в клетке? Воля. Слово-то какое. Боже мой!

— Дай еще стаканчик.

Выпил, крикнул, подождал, когда запылает.

— Старуха!

Цыганка молча покосилась на него.

— Как жить, старая? Что-же: за привычку к перине и сладкой еде человек паршивеет? А что взамен? Ха-ха-ха. Цыган-то, выходит, мудрее. Хитер, мудер.

Становой мучительно трет лоб. Там только обрывки мыслей, как рваные облака в бурю. Задумался — не хватить ли еще стаканчик: последний. А тоска, какая-то могильная тоска, так и подкатывает. Сел, дико оглядывается, ударил кулаком о землю:

— А я! — заорал, — что мне за радость жить? Одинокий, пьяница — зачем живу? Дурак, а ведь когда-то Божье создание был. Вот даже денег нет. Скажи, старая, — дурак?

В голосе его почти слезы. Цыганке надоело. Поднялась, и стряхивая подол, злобно выпалила:

— Эх, дылыно, дылыно. Стерял ту сар ловэ, та ничи на киндян пэскэ лачо...

Если бы становой знал по-цыгански, он понял бы:
 — Дурак, дурак. Все деньги потерял, а ничего хорошего не сделал. Самый большой дурак, кто просит у людей жалости к себе. А кто пьет, тот не удалец, а кто не удалец — цыган ему не брат.

**
*

В таборе горят огни, костры полузатухли. Люди разбрелись по палаткам. У одного костра старуха учит дочь. Не выпуская трубки изо рта, старуха бьет в ладоши и уныло напевает:

— Во саду ли в огороде...

Девочка в платье до пят, ходит по кругу, приплясывая.

— Не так, не так, — кричит старуха, — тряси больше верхом. Во саду ли в огороде...

Дочка старается.

— На повороте делай «пш», будто пар из тебя вырвался. Лицо каменное делай, будто заморожена. Во саду ли...

Красивое лицо девочки устремлено вниз, оно нахмурено, глаза долу, идет по кругу, внезапно вздрагивает — Пш — и опять дальше.

— Э, всё не так! — встает старуха с земли, тяжело опираясь на руку. — Вот, смотри.

Она как-то вздрогнула вся, миг — и это другая женщина: голова чуть-чуть закинута назад, спина в струнку, рукой небрежно подбоченилась. Неуловимое движение головы — и старуха пошла. Ну, и... пошла! И когда прищуренный глаз встретил луч луны, как издалека донеслось:

«Шутишь, что-ли?...»

Боже, да ведь это Настя? Опознал бы ее сейчас какой-нибудь барин-москвич. Еще недавно ее знаменитое «шутишь, что-ли...» приносило хору тысячи, а сама Настя была усыпана брильянтами.

Настя в глуши сибирской стоянки табора, верная заветам племени, забывшая городские огни...

После танца дочь садиться около матери и слушает ее поучение:

— Настоящая Кали — черная — должна бояться на свете только одного — потери лача, чистоты. В сравнении с этим потеря жизни безделица. Запомни это, дочь моя. Пусть охранит тебя Бог даже от мысли о таком позоре. Да не будет на мне проклятия племени.

**
*

Почти неделя прошла, и Гэто оглядывает родной табор, как заново. Наконец-то, на смену им пришли люди, лошадь оставлена на их попечении, а отец и Гэто будут выступать сегодня на кругу — соберутся все мужчины табора и надо рассказать им как прошло дело.

Где-то около своей палатки отец бренчит на башады — гитаре и тихонько с чувством напевает:

«Мнэ дчава кэ пэскири хулань.

«Мэ дчава, мэ урнава.

«Нэ здоров, чолом мири хуланари...»

— Иду я к своей жене, иду к ней и лечу. «Здорова ли ты, бью тебе челом, моя женушка...»

Ужин сегодня тоже праздничный: кагны — куры. Когда после ужина мужчины собрались в круг, Гэто поразился — отец, весь день такой веселый, к вечеру стал сумрачный и злой.

— Ну, начинай, — обращается к отцу старый цыган.

— Чего я буду начинать, — ломается отец, — в таборе теперь новые порядки: одни головой своей отвечают, другие распоряжаются.

— Оставь это, — смущенно говорит старик, — никто без тебя не распоряжается.

Отец вскочил и яростно бросил шапку о землю:

— Не распоряжаются? А откуда у вас три мешка овса? Молчите? Так я скажу — от станового. Решили вы вернуть ему моего жеребца, а в обмен он дает пристяжную и три мешка овса. Неправда?

Долго молчат старики. Наконец, один из них, худой как скелет, поднимается:

— Мы не решили, парень. Был разговор, но ни да, ни нет. А становой без спросу привез мешки с овсом.

— Зачем же вы взяли?

— Вот в этом вся наша ошибка. Пообещали ему, точно. Жалко стало, плачет он...

— Чтоб он, баба, утер глаза колючкой! А меня с сыном вам не жалко? Пожалели бы нас мужики, попади мы им в лапы? Хорошо, если убили бы. А то вот вывернули бы мальчишке ступни пяткой наперед, да руки переломали бы.

Тягостное молчание. Тот же старик делает шаг в сторону отца, кланяется ему в пояс:

— Прости нас, парень. Но разве цыган умеет долго сердчать? Вот кланяюсь тебе повинной головой и давай начнем круг, как отцы наши — Расскажи про дело, а потом решим.

Отец скрипнул зубами, но взглянув на согнутую перед ним спину, весело осклабился:

— Это верно: цыганский бог добрый и веселый. Ну, так садитесь же, слушайте.

Все радостно забормотали — как гора с плеч.

Отец, помешивая головешкой в костре, стал рассказывать — обстоятельно, шаг за шагом, не упуская ничего. Когда он начал о том, как в тальнике мужики в них стреляли, Гэто дернулся прервать речь отца. На него закричали:

— Не суйся, дойдет и до тебя очередь. Еще воды не видно, а он уж штаны снимает.

Гэто даже не обиделся на общий смех — вдруг

понял, что мог погубить себя. Хотел он сказать о том, чего и отец не знал: не дерни он тогда повод в руке отца — заряд попал бы им в спину. Однако у цыган считается бесчестным самому рассказывать о своих подвигах или напоминать о них.

Кончив свой рассказ, отец принялся возносить Гэто. Тому стало стыдно и сладко, и он спрятался за чужие спины.

— Поди сюда, — старик поманил Гэто пальцем.

Неловко, боком, переступая ногами, как если бы это были бревна, Гэто приблизился.

— Теперь ты настоящий ромо — цыган, — сказал старик. Порылся в кармане и вытащил оттуда маленькую трубку. — Это тебе на память от табора.

Гэто схватился за трубку и глаза его заблестали: мальчишки его возраста все вертели цыгарки, а он — ромо — имеет право на трубку. В круг вскочила мать Гэто:

— Когда по обычаю я его новорожденного положила голым в снег, он закричал таким голосом, что сердце мне сказала: вот будет настоящий Ромо. Удалец будет.

Все засмеялись, но молчали, пока женщина не удалась.

Гэто от полноты счастья не сиделось на месте. Когда начали решать, что делать с лошадей, он юркнул в темноту, сжимая в руке трубку. Он ушел так далеко, что костер казался маленькой точкой.

Сел, закурил трубку. Ветер нанес на него лай собак в деревне. Вдруг вспомнилось «тпрути-тпрути» — цокают копыта лошади. Вспомнилась и его нежность к тэпоро граст — молоденькой лошадке, цыганский бог на золотом коне и тальник, где стоит сейчас серый в яблоках жеребец.

Если бы Гэто знал, однако, то, чего он сейчас не знает...

ЗИМНЯЯ СТОЯНКА

На эту игру в небе можно заглядеться: над верхушками деревьев мчатся рваные темные тучи и между ними ныряет луна. Кажется, идут вперегонку — юркая луна показалась в прорези облаков, пустив по снегу тени, вдруг пропала и все погрузилось во тьму, теперь выскочила сбоку и играет в пятнашки меж деревьев или прикрылась облачной фатой, и видно лишь тускло светящееся радужное пятно. Лютый мороз, ночное безмолвие леса, вспыхивающие искры снежинок, зеркальный блеск накатанной дороги.

На небе случилось что-то неувловимое — сонная птица в лесу отметила это внезапным вскриком, — рассвет. В стороне от дороги теперь видно непривычное: вал засыпанных снегом телег, с задранными еще с осени оглоблями, белые шапки занесенных сугробами землянок — цыганский табор. Различимой становится прикрытая рогожей обледенелая лошадь, уныло опустившая шею. Бурое пятно оказывается сладко дремлющим медведем. Ветерок метет пепел с затухшего костра. Худая, ребра наружу, собака роет снег, почуяв забытую кость. Вокруг землянок утоптаный снег, на нем валяется сломанное ведро, недопиленное бревно с забытой в нем пилой, разный хлам — жестянки, тряпки, шелуха картофеля и лука.

Из крайней землянки вылезает цыган, блаженно потягивается, обнажив волосатую грудь, и глядит на нее. Мороз враз смысл с него наспанное тепло, и цыган скрывается. Из другой землянки слышно покашли-

вание, чей-то надтреснутый голос и через минуту — с первым лучом невидимого еще солнца, — табор оживает.

Из землянки в землянку шмыгают босоногие мальчишки, две красавицы, со смехом подталкивая друг друга, умываются снегом, растирая его по лицу и шее. Костер стреляет искрами, из котла валит густой пар, в нем варятся овощи, пшено, корки ржаного хлеба, какие-то картошки и кости. Тут же, на рогульках, плюются черным наваром кирпичного чая прокопченные чайники. Яйца пекут в золе или пьют сырым.

Весело наваливается цыганский народ на еду. Каждый съедает три-четыре больших чашки варева, а чайники разносят по землянкам.

Около костра на некоторое время опять становится пусто. Лишь когда солнце показалось над лесом, один за другим вылезают деловые люди.

Кузнец раздувает горн — сегодня опять сваривать ось. Уж неделю сваривает, но работа не задалась. Хозяин оси, проклиная себя, фараоново племя и лопнувшую ось, вчера все же приволок еще угля — разорил его цыган на угле.

Главный коновал табора — страшная черная борода и горящие глаза — навесил на пояс диковинные железные крючья, рашпили, поддевалки, защемилки и десяток ножей разного вида, пошел, побрякивая своей сбруей, на село — искать заболевшую скотину или драть шкуру павшей. В руках у него большая палка — при его появлении в селе все собаки сбегаются в стаю и яростно преследуют его весь день.

**
*

Гэто стоит около лошади и наблюдает, как в нее вливают уже третье ведро хлебного пойла. Лошадь купили за два с полтиной на шкуру, но приведут в порядок и продадут за десять, а то и пятнадцать рублей.

От пошла она отчет через несколько дней водяной и будет казаться откормленной. К огорчению Гэто, главное — сделать надрез между ушами и потом зашить так, чтоб уши были торчком, а не висели — откладывается на завтра. Коновал подтянет еще отвисшую губу, подстрижет там, замажет здесь и тогда можно вести коня на показ, выпоив ему сорокову водки. Гэто надеется, что его возьмут на торг.

Деловое оживление скоро, однако, гаснет, — лошадей оставили в покое, кузнец с проклятьем бросил горн — ось опять не сварилась. Гэто залез верхом на медведя, в зубах знаменитая трубочка. Спрятав голые пятки в шерсти медведя, Гэто чешет его за ушами, Мишка блаженно урчит. Взгляд Гэто задержался на каких-то людях, идущих по дороге. Одеты они не в дальнюю дорогу и Гэто насторожился, — так и есть: писарь и с ним десятский, идут в табор. Не отрывая от них взгляда, Гэто издает цокающий звук — так белка кричит, вбегая на дерево от врага. На это цок из каждой землянки высунулась голова и проследив направление взгляда Гэто, сейчас же скрывается.

Все оставалось спокойно, только одна цыганка шмыгнула из землянки к лесу, в руках прюнелевые ботинки — в них давеча она сидела с чашкой каши в руках. Еще какая-то женщина выползла из землянки, задрала юбку и придерживая ее зубами, поспешно наматывает кашемировую шаль на живот.

Гэто пошел навстречу пришедшим и, не спрашивая, показал на крайнюю землянку:

— Сюда ходи.

Писарь с десятским пролезли за Гэто в землянку и недоуменно оглядываются. Но писаря уже теребит за рукав цыганка:

— Желанный, кормильчик, в сахаре родился, в патоке купался, заграничные твои глаза, ангельская

твоя улыбка, долгие твои дни, счастливая твоя жизнь,
— дай поворочу.

Писарь отстраняется.

— Ох, парень, любят тебя девки. Только рыженькую бойся, окажет тебе неверность...

Но старый цыган что-то забормотал и цыганка сразу вылезла из землянки.

Десятский недоуменно поводит кругом глазами:

— Мать честная, да до весны они все здесь померзнут.

— Чего померзнут? — усмехается цыган, — когда снег, тогда тепло. Под снегом и зеленая травка спит.

— В самом деле, — поддерживает десятского писарь, — вместо того, чтоб платить обществу деньги за эту полянку, лучше было снять какое-нибудь холостое здание. Хлебный амбар, скажем. Сложили бы там печку и жили бы в тепле.

— Не подходит нам это дело, — спокойно говорит цыган. — Чтож, угощать вас будем?

— Нет, мы по делу.

— Какие такие дела?

— Подати. Придется вам на тыщенку раскошиться.

— Тыщенку? Да мы и считать до тысячи не умеем. Слыхано ли это дело?

— Царь третий год войну ведет, деньги нужны. Впрочем, может через меня дотолкуемся и до половины.

В это время куча тряпья в углу заколыхалась и из-под него выглянула седая голова цыганки.

— Чтоб он воду с задней ноги собаки пил, твой становой. Откуда у цыган такие деньги?

— А это уж ваше дело, — строго заметил писарь и поднялся уходить. — Приходи завтра, старик, в правление, там потолкуем.

Дорогой десятский вприпрыжку нагоняет писаря и, проваливаясь одной ногой в целине, говорит:

— Может я не допнял чего, — вера, что ли, за-
прещает им жить в избе?

— Они православные.

— Скажи пожалуйста. Я ведь не зря спрашиваю. Мальчишкой, лет пятнадцать мне было, я поссорился с отцом и ходил записываться в табор, только они меня не приняли.

— Вот и пропал бы.

— Вот так по незнати и пропал бы. О зиме-то я не думал. Ведь вот народ какой — смелый, ловкий, долго ли такому избой обзавестись, а там лошадьми торгуй или по кузнечному делу.

— Да ты сам поди не из робких.

— Чтож одна смелость? Смелость без ума не велика сума. А цыган сам своего счастья бежит. Ничего не пойму.

**
*

После ухода писаря все взрослое мужское население табора собралось в землянку к старику.

— Как так, среди зимы денег требовать? Откуда зимой возьмешь?

— Они небойсь правильно понимают — лови свинью, когда она в болоте, а не когда по полю бежит.

— Не платить и все тут! Летом, мол, если Бог пошлет...

Но всяк понимает — это не выход. Три хороших таборных лошади поставлены на зиму на прокорм к крестьянам, продадут их за бесценнок, а остаток все равно взыщут.

— Надо попа Ваську спросить. Поп Васька добрый человек.

— Ну что поп Васька может сделать?

— Поп Васька попросит Бога Николку, а тот как-нибудь устроит.

— Николка больше за мужиков. Лучше пусть наши старухи подарят что-нибудь Богородице и попросят ее.

Но мрак не рассеивается, напрасно все морщат лбы.

— Работать надо, — предлагает кто-то из молодых, — две-три лошади увести, вот и деньги.

— Дурак. Зимой везде след, в лес не спрячешь. Надо гнать от села к селу, значит работать с мужиками, а те все себе берут.

— Трактирщик в Николаевском и лошадь укажет и куда спрятать найдет.

— И даст тебе дураку десятку за все.

И вдруг кого-то осеняет:

— А может у нас и есть эти деньги? Сколько у тебя в кисете?

Все глядят на старика — кассира табора.

— А что, я их считаю, что ли? Я и кисет-то не знаю где.

Старик толкает ногой кучу тряпья. Опять появляется голова старушки.

— Последний раз я видела вон там, с корнями висел.

Кисет находят, высыпают деньги, пересчитывают — сто двадцать рублей двадцать копеек. Старик молча складывает деньги в кисет и бросает его в угол. Совет расходится, ничего кроме Богородицы не придумав.

Гэто слышал, что говорилось на совете и остался недоволен. А где же удадь цыганская? Почему не увести все-таки какую-нибудь хорошую лошадку? Только надо подогнать, когда верст за сто будет ярмарка. Для ночи можно спрятать коня в стороне от дороги, а следы в сугробе замести. Но тут же вспомнил случай — прошлой зимой в другом таборе два цыгана увели лошадь в овраг, чтобы потом вести дальше. Утром

пришедшие товарищи увидели натоптанный волками снег, кровавые пятна в снегу, кости и обрывки цыганской одежды.

Он, Гэто, забыл самого страшного врага зимой. От него ночью нет спасенья не только в стороне от дороги, но и на самой дороге. Вспомнился убитый волк: мощная волосатая грудь, страшная голова, будто высеченная из камня и хвост — полено.

Значит, выход только один — продать таборных лошадей. Какой позор, кто после этого захочет остаться в таборе?

Гэто мрачно полез в землянку старика, где происходил совет. Старик взглянул на Гэто боком и погрузился в рассматривание порванной уздечки. Старик знал, если он подымет сейчас голову, то встретит горячий мрачный взгляд мальчишки.

В ОКОПАХ

В гражданскую войну — было ему тогда четырнадцать или пятнадцать лет, — оторвался Гэто от родного табора и попал в своем странствовании как раз в самую кашу — захватили его чешские войска.

Обидевшись на свой табор и порвав с ним, пробирался Гэто в Австрию, об ней много рассказывал дед. Кони там не кони, а златокудые видения, цыгане не цыгане, а сплошь богатыри. В таборе — в одном только таборе деда! — было семнадцать музыкантов, пляска и удалые набеги, песни...

— Счастливая жизнь, теперь не то, — добавлял дед, рассказывая разные случаи.

Перевалил Гэто Урал, распрощался с Сибирью, вышел на Каму. Осень, моросит мелкий дождь, все видно, как через промасленную бумагу. Прошел деревню, но на ночлег не остановился, живут — и взглянуть то скверно: вонючие избы, теснота, грязь. Спустился к реке, выбрал под обрывом местечко, руками и палкой прокопал себе в песке пещеру, развел костерок и повесил сушить свои лохмотья. Сам сидит почти голый, ворошит в золе украденную по пути картошку.

Прищурился на огонек и задумался. Видит кочевку богатого табора в Австрии. Впереди идут важные старики, голубые жилеты, бархатные куртки, пуговицы серебряные, как медали. Скрипят возы, покрытые шатрами, сбоку бежит собака, признавшая табор своим. Идет старуха, затягиваясь из большой, укра-

шенной бусами, трубки. Молодая цыганка, за спиной у ней маленький. Цыган в красной рубахе, плисовые шаровары, за цветным кушаком огромный кремневый пистолет. Женщины метут пыль подолами платьев, у мужчин кто-то на ходу пиликает на скрипке. На версту растянулся табор.

У придорожья молодой господин с барышней. Она прижалась к нему и со страхом, но мечтательно смотрит на проходящий табор.

Видел Гэто похожее и в Сибири.

*
*
*

Уже под самое утро, кажется, — в золе тлеет только головешка — крепко спавший цыганенок встрепнулся, увидел из своей ямы ноги в обмотках. Рванул-ся Гэто, но на него сразу навалилось двое. Бормочут что-то не по-русски и Гэто не понимает. Только один вопрос:

— Красный?

Его связали, повели. Пришли в ту грязную деревню, где он проходил накануне, поставили перед крыльцом, сбоку солдат с ружьем. Накрапывает мелкий дождь, холодные капли текут в разорванное плечо рубашки, от босых ног шелушится глина.

Вышел начальник:

— Ты чей, мальшик?

Гэто молчит.

— Ты разведка делал, мальшик?

Молчание. Начальник пошевелил губами.

— Ты у меня будешь говорил! Ты хочешь розга, мальшик?

Спас тогда Гэто старый чех, сказал:

— Это цыган, господин майор.

Гэто определили в конюшню. Как волченоч, он прижался в угол, зарывшись в кучу соломы, почти не притронулся к еде, но загляделся на майорскую ло-

шадь — темно-гнедой жеребец с подстриженным по-немецки хвостом, на лбу звездочка.

«Угнать и на такой лошади в Австрию — вот будет удаль».

С тех пор Гэто неотступно ходил за лошадью, покори́л сердце конюха и кочевал из деревни в деревню вместе с чешским отрядом — жизнь его наполнилась смыслом.

**

— Белого поймали, товарищ комиссар! На офицерском коне.

— Только оказался он черным — цыган, — добавил второй красноармеец.

Комиссар оставил дышать в трубку телефона, повернулся к Гэто:

— Ты у чехов был?

Гэто ответил по-своему:

— Конь мой, я его увел!

— У кого ты его увел?

— Гадзо, не цыган.

— Вот воряга, — усмехнулся комиссар. Он представил, как цыганенок через фронты, разъезды, патрули проскочил почти сто верст.

Подумал немного и тут же решил:

— Конь твой, но сейчас война — понадобится, так и я поеду на нем. Согласен? Эй, ребятишки, дайте Цыганову гимнастерку и штаны, зачислить товарища Цыганова на довольствие.

Так Гэто получил фамилию. Красноармеец, принявший его под свое начало, наставительно сказал:

— Теперь ты уж не безымянный корешок — ответственность. Айда пока в ремонт!

**

Если с вами случилось в детстве что-нибудь особенно ужасное — это запомнится на всю жизнь. И на

всю жизнь до мельчайшего запомнит Гэто, как старый красноармеец, его звали Хлястик, теперь начальник и дядька Гэто, — связал в узел обмундирование Цыганова и повел его в... баню. Да, в баню.

Растущая в шайке куча пены, пар, который непривычная рука хватает прежде воды, туманное пятно окошка, говор, плеск, капли шлепают с потолка, скользкий неуверенный пол, горькая мыльная пена. Хлястик крикает, охает, ногами в горячей шайке, отмачивает мозоли, хрюкает в истоме и наконец скрылся где-то в облачной высоте, оттуда слышно:

— Поддай, дорогой товарищ! Ешшо, ешшо немножко! Ох, маманька моя.

Гэто хотел всех надуть, не мыться, но чья-то рука ухватила его за локоть, полилась сверху вода из шайки, заходила мочальная вехотка, сдирая кожу — Гэто покорился.

— В кости надежен, — хватил его ладонью по спине невидимый дядька.

В предбаннике распаренный Хлястик — красный, блаженный, осмотрел Гэто:

— Вот теперь ты новый с ног до головы, вроде даже посветлел чуть-чуть.

Надели на бедного Гэто никому ненужные подштанники с оловянными пуговицами, вольную ногу спеленали портянкой, всунули в сапог:

— Керзовые! — подчеркнул товарищ Хлястик, хлопнув по голенищу.

**
*

Мне думается, что людей можно разделить на две части — знающих окопы, грязь, раны, ужас приближающегося воя снаряда, и других — благополучных. Велико мое преклонение перед боевым солдатом.

В окопе обнажается настоящий человек, такой, каким он должен бы всегда оставаться. Это видно по

тому, как человек возвращается к мирной жизни — сразу постаревший, недоуменный, с тайной тоской по тому, чего коснулся.

Чувство отчужденности и даже предрешенной враждебности к своему не-я, обычное в нашей жизни, сменяется там чувством близости, крепкого товарищества, святой дружбы. И понятно, почему мальчишка-Гэто без памяти влюбился в боевую жизнь.

**
*

Уже к вечеру кавалерийский отряд, в котором числится товарищ Цыганов, возвращается в село. Въезжали строем, подтянутые, молча — командир строгий.

— Вольно, — раздалась команда, когда въехали на площадь.

Сразу поднялся шум, крики, одни ругаются, другие шутят, красноармейцы сваливаются один за другим с лошадей. Ослабили подпруги, вытирают коней. Гэто — на нем стеганный ватник, шапка с красной звездой, на боку кривая шашка — за боевые заслуги ездит на своем коне.

— Лошадей поить, — раздалось через полчаса.

У колодца дневальные наполнили корыто и к нему один за другим подводят расседланных лошадей. Лошадь фыркает, попробует воду нижней губой и припадет. Оторвавшись, поднимает голову, с губы капает вода. Гэто посвистел своему «Чеху» и пока по горлу лошади перекатываются глотки воды, любовно обхаживает ее, пальцами перебирая взлохматившуюся у потника шерстку. С площади видна дорога, уходящая из села. На дороге показалось какое-то облачко. Гэто замер, прислушался и дико закричал:

— Казаки!

Поднялось невероятное — застигнутые врасплох красноармейцы засуетились, поднялся шум, крик,

свалка, с крыльца сбегает бледный комиссар, в руках у него пояс с пристегнутой кобурой. Через минуту видно — всадники, разворачиваются строем. Лава казаков несется, поднимая облако пыли.

Командир кричит что-то, но его не слышно, люди сами принимают решение. Многие уже на конях — мчатся навстречу казакам. Далеко опередил всех Гэ-то — прижавшись к шее лошади, дико крича, размахивая шашкой, он несется на казаков. Исход один — столкнется со встречным конем и покатится кубарем вместе со сбитым казаком, уже видя первые конские копыта над собой и уже слыша хруст своих костей.

Увидев встречных всадников, казачий отряд внезапно расступился и они пронеслись в узкий проход, не успев застопорить. От казаков тотчас отделился отряд и погнался за проскочившими. Оставшиеся мчатся на село, но их уже косят залпы спрятавшихся за избами красноармейцев.

**
*

— Сволочи! — кричит командир собравшемуся на рассвете отряду, — паникеры.

Красноармейцы молча переступают. За что их ругают? Ведь они приняли бой, отразили врага.

— Рвань паршивая! Взводные — дай счет людей!

Тридцати — тех, что помчались навстречу казакам, не хватает. Из-за них и ругань.

— Хлястика, давай Хлястика, — несется по рядам, — комиссар требует Хлястика.

— Был, да весь вышел. Еще ночью укатил на лошади, с ним еще двое.

— Расстреляю! Перед строем негодяя расстреляю! Сволочь!

**
*

Часть казаков ворвалась в село, а другая залегла в цепь, началась перестрелка. Ворвавшиеся сразу по-

чувствовали, что зарвались и хотели назад, но были уже отрезаны. Бой затянулся почти до рассвета.

Хлястик лежит среди тех, что перерезали казакам дальнейший путь на село.

— Пропал цыганенок, — говорит он лежащему рядом стрелку, меняя обойму.

— Что же — жизнь одна и смерть одна. Хорошо, если убит, а то...

— Кликай, чорт, — оскалился Хлястик, одной стороной рта, как собака, — побереги для себя.

Зол он и на себя — промахнулся. Всегда с глаз не пускал, а тут суматоха, бес его знает, как тот вылетел. Во время заметить, сам бы с ним пустился.

Когда протрубили отбой, Хлястик пошел в конюшню. Резнуло в сердце пустое место Чеха и совсем острым ножом, когда на соломе, где спал Гэто, увидел его ватник. Взял ватник в руки...

— Это ты, Хлястик? — рядом стоит кто-то в полутьме, — что это ты держишь?

— Вот, прибираю вещи...

— Понятно. Ишь какое дело...

Через полчаса трое красноармейцев крадучись вывели лошадей и, минуя командирские избы, выехали за село.

РОЗОВАЯ ЛОШАДКА

Следующей ночью Гэто выкрали. Белые заперли его в сарае, а ночью вдруг слышит, что-то гуси гогочут...

Пока сидел в сарае думал только о коне. Он ему накануне вычернил заново копыта и как вспомнит — хоть плачь. Гэто не сомневался, что «Чеха» от белых он украдет или отобьет. Но Боже мой — что они с конем сделают за это время! Свеже зачерненные копыта — это пустяк, он еще начернит, мазь у него есть. Но если набьют холку или лошадь засечет бабку или вот на задней левой звенела подкова — вдруг не заметили? Милый Чех, твои раскосые глаза, хвост стриженный...

Скоро рассвет, Гэто выкрали хорошо, но Хлястик торопится. Проползли уже сторожевых, сейчас в степи, рассветает, а тогда беда — видно на версту кругом.

— Чорт цыганский, — ругается Хлястик, — из-за тебя вот тут...

Хорошо воевать, — думает Гэто, — весело. И люди какие кругом! Или это на войне только? Что был Хлястик без войны? Хлястик бывший портной, фамилия его Трофимов, но ее все забыли. Гэто видел портных — ноги скрючены, сидит как татарин, ножницы, иголка, ворошит чужие тряпки, стрижет, шьет. Неужели Хлястик мог бы вернуться к такой жизни? Или вот этот парень в веснушках. Веснушки даже на ушах. Ра-

ботал в поле, копил добро, вскоре женился бы. Изба, дети, забота.

Добежали до леска. Громко осенью в лесу. Над деревьями луна и туман делают радужное сияние. Хрустнуло что-то, все замерли.

**
*

Перед начальством явились, толкая вперед цыгана. Хлястику только раз и попало по морде. Но Гэто принес важные сведения — казаки готовятся уходить. Начальник их куда-то поехал, Гэто потому и уцелел. Вчера казаки перепились, а то бы Хлястику с товарищем не удалось выручить его.

— Сколько казаков?

— Кици, — много.

Через час их опять вызвали. Хлястик, Гэто, веснущатый парень — в разведку: проникнуть ночью в село, узнать силы и расположение.

Хлястик положил в торбу гармонь. Гэто коня дали самого паршивого, из ремонта. Гэто не огорчился — сегодня он увидит Чеха.

**
*

К селу подъехали вечером и остановились в версте — небольшой лесок. Гэто вызвался сейчас же идти в село, назваться бежавшим от красных.

— Почему ты бежал? — берет на себя роль допросчика Хлястик.

— Мне все равно где воевать, а здесь мой конь.

— Украдешь и перебежишь к ним?

— Назад мне к ним нельзя. И я больше люблю казаков.

Хлястик за последние слова дал ему подзатыльник и предложил свой план. Как стемнеет, веснущатый

пойдет к селу и на полдороге станет на караул. Хлястик начнет играть на гармошке, а Гэто плясать.

— Что из этого? — недоумевает веснушчатый.

— Услышат казаки, будут удивляться. А всерьез не возьмут — пошлют какого малого, тут мы его и схватим.

Гэто этот план не нравится — а как же Чех?

— Может я сначала проползу к огородам, выгляжу?

— Ползи, пожалуй. Только второй раз не попадайся, второй раз тебя уж не выручим.

В лесу то там, то здесь мелькнет красный луч — заходит солнце. С опушки видно село, оттуда доносится запах дыма, все мирно, спокойно. Но вот все село скрылось в темноте, где-то мелькнул красный огонек, тьма приблизила село и слышно мычание коровы.

— Я поползу, — толкает Гэто заснувшего Хлястика.

Подтянул кушак, ощупал нож за голенищем и направился к селу. Только совсем приблизившись, Гэто лег на землю и пополз дальше на локтях. Чем ближе, тем осторожней, затаив дыхание, прислушиваясь и выжидая.

Проявить свою ловкость в опасности — какое наслаждение! Конечно, Гэто думал только о Чехе, как он вдруг появится на коне перед Хлястиком, пряча свое торжество показной небрежностью. Цыган!

**

Что-то кажется необыкновенным Гэто: прополз огород, выбрался на улицу — тишина. Помнил, тот раз лошади казаков были собраны на площади. Скользя от избы к избе, добрал и туда. Пусто. Сердце екнуло — неужели ушли казаки? Как же Чех? Оставалась

слабая надежда — ушли не все и кони разведены по крестьянским дворам.

Гэто начал обход, через огороды проползая к сараям. И вдруг оплошал: накинута на него собака и давай трепать. Неистовый лай поднялся и на соседних дворах. По селу зажглись огоньки. Проклятая овчарка вцепилась в штаны и пока Гэто отбивался, на него навалился мужик, оглушил ударом по голове и поволоку.

— Это цыган! — слышит Гэто голоса. Он пришел в себя на площади, кругом толпа, у многих в руках фонари.

Цыган — значит конокрад.

— Ясно — мальчишку подослали высматривать а сами где-нибудь около.

— Убить паршивца!

— В огонь!

— Постой, мы его сначала попытаем, — вступился старый мужик.

Напрасно Гэто уверял, что он красноармеец. Единственное доказательство — звездочка — исчезло вместе с шапкой. Обнаружили нож за голенищем.

Спасибо Хлястику — в село въехали двое, один что-то пиликает на гармошке.

— Идей-то тут наш мальчишка? — раздался властный голос Хлястика.

**

Белые катятся на восток, едва защищаясь. Коннице работа — ни поспать, ни поесть. Хлястик был ранен и рассматривая шов, наложенный в лазарете, ругается:

— Шьют в наметку, как мешок. Хорошо, что само срослось.

Пришел комиссар:

— Товарищ Хлястик, дело такое... В Кирилловке белые, надо разведать или языка достать.

— Дело, товарищ комиссар, сам знаешь какое — без чарки не обойтись.

— Да ладно, чорт с тобой.

Хлястик взял Гэто и вдвоем поехали в Кирилловку. Не доезжая, остановились на совещание. Хлястик придумал:

— На всем маху, — говорит он Гэто, — скачи в село, требуй начальника. Падай ему в ноги — вас, чертей цыганских, не учить — говори: так, мол, и так, ехал ты с сестрой, — Хлястик посмотрел на Гэто, пожевал губами, — чуть, мол, старше меня. И вдруг, мол, красный бандит, распьяным пьяно, погнался. Сестра в одну сторону, ты — сюда, и очень просишь помочь, послать кого с тобой на выручку. И конь, мол, под сестрой особенный, знаменитых кровей — берите, и коня, только сестру выручайте.

— Хэ, — усмехнулся Гэто, — а конь будет мой?

— О чем говорить!

**

Вопил Гэто, ваяясь в ногах у начальника, как поросенок. Лицо в слезах, обнял сапог:

— Начальник брильянтовый, ясная твоя жизнь, развеликая, счастье тебе не обобратся, пошли кого за сестрой.

— Сколько лет сестре-то?

— Два года старше меня. Первая цыганская красавица, начальник. А конь под ней...

Выступил адъютант:

— Разрешите мне, господин капитан. Возьму вестового и через полчаса всех доставлю.

— Гм, — тянет начальник, — а если цыган врет?

Но здесь раздался такой поток клятв, что даже всем страшно стало.

— Валяйте, поручик, но только будьте начеку.

**
*

В Барабинской степи на конную часть выпала трудная задача — налетом опрокинуть заслон белых, очистить дорогу к Омску. В прежнее время об этом нельзя было и думать — неравенство сил слишком значительное — но в наступлении можно позволить себе многое.

Приказ есть приказ. Командир с комиссаром решили атаковать: часть людей в нашем строю должна наступать с одной стороны, а к вечеру главные силы левой обрушатся с другой. Использованы были все люди, даже коней спешившихся сторожит раненый красноармеец.

Перед боем Гэто занялся своей лошастью — прекрасный гнедой конь. Перешел он к нему от адъютанта не совсем праведно, но война — война. В воображении Гэто конь казался розовым, так нежны были отливы солнца на шерсти лошади. По случаю боя Гэто вплел в гриву коня ленточки, чолку примуслил и заплел косичкой, заправив под узду косым локоном. Хвост расчесал волосок к волоску и завязал узлом. Ползал под брюхом лошади, щупал бабки, копыта наваксил до блеска и когда кончил, отошел в сторону и долго любовался — лошадь, как в сказке. В первый раз образ «Чеха» померк в его сердце.

Хлястик, как всегда перед боем, суетился, балагурил, кричал, распоряжался — весь в работе, чтобы не думать о бое. Два раза пытался он оттащить Гэто от лошади, но тот только отмахивается.

— Чтoб тебе лопнуть, цыганская кровь, — озлился наконец Хлястик, — марш за патронами! — заорал.

Но Гэто сидит на корточках, поднял ногу лошади, рассматривает подкову. Только к вечеру, когда солнце коснулось горизонта и начали выводить лошадей, Гэто привел себя в боевой порядок. Заходящее солнце ярко осветило порядок изб во вражеском селе и черные нити колючки, в несколько рядов опутавшей село. В расчет входило, что обороне солнце будет бить прямо в глаза.

О бое Гэто не думал даже тогда, когда конный порядок выстроился и перед замолкнувшими конниками комиссар давал последние указания. «Как-нибудь обойдется», — думал Гэто, — «как другие, так и я». Рядом с ним Хлястик на коне. Портной хватил для храбрости, лицо у него красное. Гэто знает — как только кинутся в бой, Хлястик заорет, размахивая шашкой, лицо у него искаженное и все в слезах. Чем яростнее идет рубка, чем свирепее становится Хлястик, тем мокрее его лицо.

Со стороны села доносится горячая перестрелка, ахнула пушка, прокатилось далекое ура. Сосед Гэто по другой стороне тихонько, чтоб не видно другим, крестит себя мелкими крестиками.

— Товарищи, умрем или порубим врага! — возглашает комиссар. Заливистым тенором пропел команду начальник. Лошади тронулись.

Последняя мысль Гэто: «Зачем же лошадей вести на смерть, дело только между людьми». Конь под ним горячится, танцует на выточенных ножках.

**
**

Полная луна заливает светом поле перед селом. То там, то здесь или павшая лошадь или труп. Раненая лошадь бьется на земле. С усилием подняла голову, раздается короткое жалобное ржанье. Нога лошади судорожно вытягивается. Еще движение и лошадь замирает.

Лежит боец, пуля ударила ему прямо в лоб. На лице ярость, рот раскрыт для крика. Этот далеко откинул правую руку, пальцы заоченели, сжавшись на эфесе шашки. Бородатый воин приподнялся, обе руки прижал к боку, тяжело застонал, на минуту раскрылись мутные глаза и тут же повалился на бок. Лежит комиссар, лицо вверх, руки раскинул. Луна освещает безжизненное лицо и черную от запекшейся крови траву. Собака из села понюхала чей-то затылок, подняла морду на луну и жалобно завывала. Два-три стоны, еще ржание мучающейся в агонии лошади, и опять тихо. Густо усыпано поле мертвыми телами.

Два красноармейца, один из них Хлястик, бродят по полю, нагибаясь, переворачивая рассматривают трупы, склоняются над ранеными. Лежит мальчишка, зубы оскалены, оливковое лицо. И вдруг поле оглашается захлебывающимся плачем. Хлястик приподнял Гэто, обнял его обеими руками и, прижимая лицо к лицу, завопил потерянным голосом:

— Сынок ты мой милый! Цыганочек ты мой!..

**
*

В свою часть Гэто больше не вернулся — ранен был в грудь навылет. Лежал в госпитале в Омске, откуда забрал его к себе врач, славный старик, сам потерявший на стороне белых единственного сына. Повезли еще слабого Гэто в Москву, стали учить.

И никто не спрашивал его про лошадь. Я уверен, Гэто было бы трудно рассказывать о своей лошадке. У цыгана в любви к лошади сердце цепкое.

Д Е Р Е В Н Я

ДЕРЕВНЯ

Унылая зимняя дорога. Мороз. Белая от инея лосаадь, вокруг морды густой пар.

Запахнувшись в тулуп, Васин рассуждает: пусть буду пока учителем, пусть маленькое заброшенное село, какое-то Малиновское, пусть, тем лучше. Будут длинные зимние вечера, однообразная жизнь, но зато ничто не помешает подготовиться к экзамену. Верно — в городе книги, помощь друзей, но все же решение было выбрано правильно. Сила города — знает он: шаг за шагом слабее будет воля, заверченная жизнь и через год — прощай, Васин! Так случилось с ним в ссылке.

Если сознаться, он струсил, испугался жизни. Один, без средств, выгнанный из университета, два года под надзором — что его ждет? Неужели пропал?

Потягиваясь, усмехнулся: и все-таки он значительноее всякого генерала — молод!

**
*

На последней станции хозяин важно выкладывает слова, маленькие быстрые глазки обегают приезжих. Узнав кто, почему, откуда — хозяин посмеивается:

— Не на крупичатое ты едешь, а на арженевик: хуже малиновских ребят на свете нет. Третий учитель там не уживается. Ты что, из ссыльных, что ли?

— Из ссыльных.

Хозяин почесал бороду. Переглянулся с возчиком и опять к Васину:

— Книжки поди везешь? Про-кла-ма-ции?

— Знаешь, хозяин: пчела в улье зимой никогда не ходит по надобности.

И возчик и хозяин захохотали. Хозяин дружески пожелал:

— В добрый час! Не робей, только лавочника малиновского бойся, Поцелуева — злец.

**
*

Чем будет его жизнь в деревне? Мужики, одиночество — как все сложится?

Бежит мимо нескончаемая снежная пелена, мелькнул лесок в снежной мишуре, как к празднику убраный. Если бы не визг полозьев, можно подумать — стоят на месте. А высунуться из саней — не успеваешь разглядеть: ворона это мертвая лежала на дороге или мужик потерял рукавицу.

**
*

Милый Степан, твою бороду цвета кипяченого молока — первое, что увидел Васин в Малиновском. Как это странно: из снежной дали случайным ничтожным пятном казались избы Малиновского, а въехал — избы это главное: неискоренимое свойство человека делать себе центры, откуда весь остальной мир кажется добавлением.

— Здравствуй, — пытается выговорить Васин, вылезая из возка. Губы у него словно приставные, в оледенелой шубе поворачивается, как в лубке.

Маленькая комната, слабо освещенная восьмилинейной лампой, стол, кровать из досок и сверху набитый сеном тюфяк. Здесь ему жить. Таракан приветливо замахал усиками.

— Вот так-то, Петр, — ободряет через час Васина Степан-сторож, — ты, главное, не робей. Я когда в солдаты попал — ну, думаю, загрызут, а обжился — еще сам в морду давал.

Уходя — Степан живет за перегородкой — заботливо сказал Васину:

— Прикрыться-то есть чем? А то могу половик с классов принести — страсть теплый.

Перед сном Васин еще подумал: а не взял ли он себе задачу не по силам? Но тут жестоко куснула блоха. Степан предупредил: «клопов мы еще не развели, а вот блох — сила».

У СТАНОВОГО

Спотыкающейся, неверной походкой идет посередине улицы отец Алексей, священник села Малиновского. Один мужик показывает на него другому:

— Преклонил уже Господь.

— Пьет сердешный, чего говорить. Ишь, ослеп без малого.

Отец Алексей каждое утро выбирается из дома и обходит знакомых. Сейчас путь ему к Поцелуеву.

— Здравствуйте, батюшка, — встречает его Поцелуев, возясь за прилавком, — слыхали новость: учитель к нам вчера пожаловал.

— Молодой, старый?

— Сейчас Саньку к сторожу Степану посылал, — говорит, молодой. Однако — опять из ссыльных.

— Направить его... на хорошую дорогу...

— Становой его направит, выучит пить саженьями.

— Да вот, кстати, поднесли бы отцу духовному, чего-то мне не по себе. Не следовало бы, да по немощам моим...

— Что ж, по положению рюмочку, а больше увольте — не полагается.

Отец Алексей застенчиво тянется за рюмкой. Выпил, лицо стало грустное. Застыл, опершись на прилавок. У него тонкие, красивые черты, небольшая русая бородка. На вид лет под тридцать. Красные веки, подглазницы да вспухшее лицо говорят о жуткой болезни — алкоголь.

От одной рюмки мозг вспыхивает, как печь, в которую плеснули керосин. Здесь все потеряло четкость — только смутные образы, чувства, далекие от жизни. Привычно выстраиваются дьяволы-мысли: есть ли Бог, зачем живет человек, существует ли на свете справедливость? Или возникает другое — семинарист Алеша, сидит с удочкой. Из соснового бора наносит хвойным ароматом, забытый костер, где тлеет одна уцелевшая головешка, преданная душа сидящей около собаки, рыбка, мелькнувшая в воде. Лицо у отца Алексея становится доброе и жалостливое.

Керосин вспыхнул, озарив багровым пламенем огненную печь и прогорел, осталась смрадная копоть. Отец Алексей робко поглядывает на Поцелуева.

— Нет, отче. Довольно всамотко. Идите лучше в школу, поговорите с новым, ведь вы же законоучитель. А вечером у станового — там вам будет полная воля.

Отец Алексей смиренно запахивает тулуп, тростью нащупывает дверь и сгорбившись уходит из лавки.

**

Учителя не застал, поплелся к становому. Этот бывший кавалерист. Таких людей больше не бывает, это последний, о нем и рассказать-то трудно.

Лавочник, пьяный и мрачный, определял его:

— Ты, становой, такой хапуга, какого и отцы наши не помнят.

— Просто жизнь люблю. А ты завидуешь. Не в том дело — а как и с кого.

— Совесть надо иметь.

— Не тебе бы говорить, — становой задумался и вдруг лицо вспыхнуло пожаром: — молчать! Убью каналью и медаль за это пожалуют! Мо-олчать!

Вид у него — еще какая-то капля и убьет, зарежет, ни перед чем не остановится: дикий, помешанный.

Через несколько минут становой, как ни в чем не бывало, сидит и врет Поцелуеву:

— Ты вот ничего не видал, а я бывал в жарких странах. Очень мне понравилось, как обезьяны поют.

— Разве обезьяны поют?

— Еще как — хором.

— И что же они пели?

— Свою, обезьянью. Вроде «Ах вы сени, мои сени». А молоденькая обезьянка, рыженькая, такая шельмочка, так и идет по кругу, хвост перекинула через руку, глазки шариком, подмигивает каналья.

Батюшка застал станового с растегнутым воротом, красного, потного, его белокурые волосы свисают на лоб кудряшками. Два раза в неделю малиновская знать собирается по очереди у станового и Поцелуева — власть и торговля, булат и золото. Они соперничают: Поцелуев берет количеством, а становой качеством. Свежие огурцы у него едят с медом, сыр с горчицей. Индейку убирает на блюде, как малороссийскую невесту — вся в лентах. Поросенок, конечно, с петрушкой во рту. Запеканка из макарон в ровном загаре. Суп-пейзан, рагу из печенки, соус-пикан — перечислить все невозможно.

— Преподобный отче, — встретил отца Алексея становой, — садись, не женируйся. Хочешь рюмочку? Но только одну.

Отец Алексей выпивает и ждет, когда огонь в печи загаснет.

— Иди, отче, к учителю, скажи, чтоб вечером явился — становой, мол, требует.

Отец Алексей грустно взглянул на графин и забоялся попросить еще. Спустился уж со второго эта-

жа — становой живет в двухэтажном доме — его окликнули сверху. Перевесив голову через перила, становой кричит:

— Зайди, батя, пожалуйста, еще к Поцелуеву. Пусть королевской селедки придет.

Батюшка уж далеко, как до него доносится вопль:

— Рак-калия, разве лук так жарят? В каторге сгною!

Отец Алексей вспоминает, что он выпил, но не закусил. Его что-то мутит, перед глазами круги. Ступил и уперся в сугроб. Повернул — опять сугроб, назад — сугроб.

«Куда же это я забрел?»

Решает посидеть, проходящий выведет его на дорогу. Сел, подышал на озябшие руки и притих. Стало ему хорошо. Видит торжественную церковную службу. Он — начинающий батюшка. Нарядная церковь. По карнизам горят плошки. В храме певчие в голубых рубашках, обшитых галуном. Делает возглас и на клиросе подхватывают. Хор замолк, а октава несется, как падучая звезда по небосклону. Отец Алексей — он видит себя теперь со стороны — выходит из алтаря, выправляя из-под рясы волосы. Благословляет молящихся и вдруг находит на него умиление...

— Есть Бог, есть! — иступленно вскрикивает кто-то в сугробе.

Проходящий мужик слышит голос, склоняется и видит полузамерзшего отца Алексея: рука для крестного знамения, из глаз слезы.

**
*

В лавку заходит высокий парень. Поцелуев метнул взглядом — городской.

— Учитель новый?

Поцелуев польщен — к нему первому, видно, пожаловал.

— Очень приятно. У меня сынишка ваш ученик будет.

— Боевой, говорят?

— Гуморалист вы видно — какой боевой, просто узды не знает. Вот три шкуры спущу — толк будет. Пожалуйста вечером сегодня к становому. Мы, знаете, которые высшие здесь, два раза в неделю гостимся меж собой.

— Да как же так — я не зван.

— Ну, вот я вас зову, приходите. Вчера Степан в ваш счет мерзавчик взял, ну да я это не к тому — запишу. Вы, пожалуйста, все у меня берите. Базар это не для вас, а для семейных.

**
*

Шагает Васин по улице как полководец перед сражением. На душе бодро. Вот сходить еще к бабюшке, а там по мужикам, у которых дети школьного возраста. Из подворотни на него залаяла собака. Мимо прошли две бабы, на голове шаром наверхено, идут рядом, как две рыбы плывут. На розвальнях проехал мужик, цапастые вилы привязаны сбоку. Все с любопытством оглядываются на городского. Кто-то спешно протирает замерзшее окно, через небольшую прогалину счищенного стекла глядят на Васина старушечьи глаза, губы чего-то шамкают.

Васин передумал идти к бабюшке, спрашивает Андрея, вчерашнего возчика.

**
*

Распахнув дверь в избу Андрея, Васин предстал в облаке ворвавшегося мороза. В избе полутемно — окно сплошь заросло льдом. Половину избы занима-

ет печь, под потолком обширные полати. Над лавкой деревянные колки, на них висит отборная сбруя. В избе сине от махорки — у Андрея сидят мужики.

— А, учитель, — закричал Андрей, увидев Васина, — лошадку пришел заказывать, отучительствовал?

— Ха-ха-ха, — засмеялись кругом.

Васин обошел всех с рукой, издали поклонился хозяйке, садится с краю на лавочке.

Рыжий мужик, одутловатый, рожа как коровье вымя — его так и прозывают — насмешливо бросил:

— Тебе подобает знакомиться со своей компанией: Поцелуев, становой.

— Ну, тех уж не миновать, сами понимаете.

Маленький мужиченко в засаленном полушубке вступился:

— Надо понимать — раз ссыльный, то по мужикам-то не очень... На всякий случай надо и со становым дружить.

— Оно конечно, — говорит Андрей, обмахивая зачем-то стол полой.

Из тени выдвинулся старик — очи угасли, хребет согбен:

— Ты нами, паря, не брезгуй, просвещай. Нечего от мужика рыло воротить, сам недалеко ушел. А насчет политики, мы, может, и больше твоего смекаем. Ты до этого книжками дошел, а мы горбом. Там с Думой, или, к примеру, война. Газета-то доходит до нас редко, да и чтецов мало.

— Вот и надобно торопиться грамоте ребят учить, — перебивает засаленный мужиченко.

Коровье Вымя мрачно усмехается:

— Мелево ты, человек, мелево! Выучи сына на свою голову. Начитается книжек, побрезгует отцом, в город уедет.

Андрей кричит:

— Хозяйка, вынимай, что есть, надо уважить господина учителя с приездом. Выпьем по единой. А ты, батюшка старичок, потрудись для мира, сбегай за казенной.

**

Уже смерклось, зажгли маленькую лампу, по бревенчатым стенам заскакали уродливые тени, вваливается Степан, глаза испуганные:

— Петр, к становому тебя! Сейчас же требует.

Васин забыл о разговоре с Поцелуевым и у него меняется лицо. Так при закалке стали бегут по ней новые краски.

Мужик с висячими ушами, до сих пор сидевший молча, проблеял:

— Только нас подвел. Станут допытываться, а мы причем? Как хотите, а лучше связать его.

— Я те свяжу, дурак, — огрызнулся Васин.

— Я что, я только за водкой сбегал, — распрямляет хребет старичок.

Андрей провожает до выхода:

— Вот он каков, народ наш. А впрочем ничего, ты не опасайся. Заходи еще — ближе узнаешь, крепче полюбишь, как говорится.

**

В квартире станового ярко, роскошно. Третью комнату занимает стол, убранный парадно: белоснежная скатерть, веточки ели, лес бутылок, закуски.

Становой в полном параде. Во всем видно — больше от офицера, чем полицейского. Лицом становой учителю понравился. Право, — душа полка, рубаха-парень, праведный собутыльник, самозабвенный картежник.

С Поцелуевым Васин уже знаком. Мрачный че-

ловец, сидящий в углу, оказался фельдшером. Батюшка вышел из соседней комнаты только через несколько минут. Он идет задрав зачем-то рясу по бабьи, лицо милое.

— Наш новорожденный, — басит становой, указывая на отца Алексея, — сегодня было замерз, да мужик спас. Будем его обмывать.

— Вот хотел вас спросить, — завязывает разговор Поцелуев, — касательно обезьян...

Становой услышал краем уха и торопливо закричал:

— Пожалуйте к столу, господа! Какие там разговоры. Милости прошу.

Гостей рассаживает сам хозяин: батюшку рядом с собой, по другую сторону Васин, за ним фельдшер и Поцелуев.

— Я лучше вот там сяду, — робко произносит отец Алексей.

— Нет, нет, отче, — решительно возражает хозяин, — здесь ты под моим надзором, а там сразу... тово...

Пир напоминал море перед бурей. Сначала спокойная ясность лазури — умная речь, наслаждение едой, разговоры. Затем подул ветерок, на море зыбь, лазоревую ясность заносит тучами. Но ветер еще крепчает, вздымаются бурные волны, стихия развязывается все больше и больше.

Васин вспоминает лишь отрывки:

— Почему человек состоит из двух одинаковых половинок, — скорбно вопрошает отец Алексей, — можно бы лучше использовать место.

Поцелуев фельдшеру про свои болезни:

— Лекарства-то нынче кусаются, доктора кусаются, — ложись лучше и помирай.

Становой рванул шашку наголо — он так и сел

за стол в шашке — и, размахивая над головами, ди-ко орет:

— Взвод, за мной в атаку, рысью — марш!

У Васина мысль опережала слова, он разъяснял фельдшеру:

— Несчастье есть не что иное, как микроскопическое воззрение на мир... Со мною такой случай был...

— Каким образом, во имя? — спрашивает очнувшийся отец Алексей.

— Да не ходите вы все вдруг! — пытается на-править разговор становой.

Ураган крепчал. Снасти рвало, руль давно поте-рял управление, туман закрывает все.

Уже купец, запечатлев мокрый поцелуй на устах фельдшера, дает опасный сигнал:

— Сплясать бы, русскую...

Но появляется ангел-хранитель: как сквозь ту-ман Васин видит мрачное лицо взявшегося откуда-то Степана:

— Пойдем, Петр, в школу. Довольно. Вы уж от-пустите его, ваше благородие.

Сугробы налетали откуда-то на пути Васина, но-га теряет твердь, весь корпус заносит вбок, рука Сте-пана больно сжимает его локоть.

— Степа, — со слезами на глазах что-то хочет сказать Васин, но не может. От избытка чувств сры-вает шапку с головы и не жалея добра, шварк ее в снег.

Степан поднял и не отряхивая надел на него, за-крыв и глаза.

Петухи перекликаются на селе, как далекие часо-вые в спящем лагере.

Уминая хрустящий снег, идет по улице мужик, попросить в долг сахара и чаю у Поцелуева. Скрипят

ворота, выезжает в лес парень с топором. Старик с мальчишкой чистят коровник, наваливая на вершину кучи новые ошметки, перепутанные с соломой. От кучи идет пар. Баба, надсаживаясь над посудиною, тащит помои свинье. Соседские ребята уже подрались, один осилил, сидит на враге верхом, сует за шиворот комки снега. Андрей оглаживает своего любимца Гнедка, засыпает ему полную меру овса — завтра в город.

В лавке у Поцелуева толчея. Сам хозяин, злой с похмелья, обвешивает, обсчитывает, дает в долг, отказывает, успевает вlepить леща сыну Саньке, заглядывает в глаза одному, от другого отводит — работает, не покладая рук. Спровадив первую волну посетителей, стирает пот с лица, устало садится за прилавок. Говорит, ни к кому не обращаясь:

— Тоже ссыльный, а пьет, как свинья. Мы, деста, образованные, великие. А я такого великого — блуживал! Блином по морде, рылом об стол — вот те и образованный. Погоди, я его так не отпущу — напою до риз, да личико-то ему горчицей.

**
*

На небе щипанные облака. Лес в снегу особенный: деревья кажутся шире — на ветвях тяжелый снег — нет звонкого гула. Под деревьями объедки шишек, набросанных белкой, строченный лисий след, крестики и ижицы птичьих следов.

Вместо школы Васин в лесу, наряжен как мужик, за пазухой коврига хлеба. Бьет галицами себя по бокам, шапка надвинута до ушей, брови заиндевели. Вместе с ним Семен-инвалид. Стоит на дровнях, кнутом поправляет шлею под хвостом лошади. Приехали за дровами.

— Семен у нас есть, инвалид по занятиям, на

японской войне ногу отняли. Возит сейчас дрова Поцелуеву. Только с одной ногой трудно ему — ищет себе пару.

Говорил это Степан, а Васину как издалека — свои заботы. Будь, что будет — он не начнет занятий, пока не получит из города электрический звонок, магнит и калейдоскоп. Напуган Васин — не ребята, а разбойники, учиться не хотят. Думал, как поступить и вдруг находка: как бы он поступил, будь он среди них? Надо их поразить невиданным, неслыханным. Как оказалось просто, а уж думал — отступись. Устроил теперь сам себе отпуск и вот в лесу, с Семеном.

— До чего приятно, Семен, вот так поработать, устать на холоду, — вырывается у Васина.

— По охотке-то, — усмехается Семен, — а вот если изо дня в день.

— Все люди работают. Одни руками, другие головой.

— Все норовят работать как-то иначе, только бы не горбом.

Назад едут долго. Когда вдали показалось село, Васин уж не может говорить — губы сделались ровные.



Васин испытывает полузабытую радость — еда на усталое тело, прожженое морозом. Степан принес горшок щей, сам наливает в тарелку учителю. Без лишних слов приладились они друг к другу, как срезанные под одним углом доски — Васин и Степан.

После ужина пили чай, самовар пришлось доливать.

— Ты бы рассказал что-нибудь, Степан, — говорит Васин, прилегши на койку.

— Какой я рассказчик? Да и перезабыл все. Раньше память у меня клейкая была, а теперь все засохло, будто и на свете не жил.

— Ты что же — одинокий?

— Выходит так. Жена давно померла, сына на японской войне убили, сноха в город прислугой ушла, а внуков Бог не дал.

— Про людей расскажи.

— Нет, уволь. Добра-то я мало видел — трудно повернуться к обидчикам спиной.

Степан почесал бороду, из-под мохнатых бровей невидяще посмотрел на Васина:

— Вот ты политик, может тебе интересный будет такой рассказ. На службе, молодой я был. И нашли в нашей роте эту самую — как ее — прокламацию. Дескать ни Бога, ни царя, ни веры, ни отечества — все по шапке. И выстроили нас на дворе перед казармой. Стали вызывать зачинщиков. Чего-то выкликают, я со страха не пойму. Вижу, перед роту выбежало человек десять. Мне бы дураку стоять, где стою, а я вдруг в одиночку из строя перебежал к тем, что вышли. Подскакивает фельдфебель: «Ты что?» А я что — я ничего. Слов не найду — вижу только зубы ляскают передо мной, фельдфебель на меня кричит. Что тут было... — съездил меня, конечно. Потом роту опять выстроили и пошли гонять. Идет задом перед ротой фельдфебель и все покрикивает: «живей, живей», а мы шаг все просторней и просторней.

Степан замолчал, должно быть все слова у него слиплись.

— Ну, и чем все кончилось?

— Да нет, больше ничего и не было.

Васин ласково улыбается Степану:

— Уж очень интересно ты рассказываешь, Степан. Васин глядит на потолок, стены. Что, если бы по

волшебству, — думает, — вместо этой комнаты вдруг сейчас стены чистые, оклеены обоями, потолок высокий, паркет, дверь как дверь — изменился бы я? Иначе бы думал?

Или Степан — бархатный халат с кистями, на голове пробор, золотые очки. Стал бы Степан мне милей?

Васин примеривает себя к новой обстановке — нет, человек меняется и в этом есть что-то унижающее. Какая-нибудь шельма собака стойче.

— Степан, ты веришь в сны?

— Как не верить.

— Вот я сегодня с утра знал — что-то должно случиться, сон такой видел.

— И что?

— Нет, ничего не случилось.

Степан остановился с самоваром в руках, широко расставив локти, внимательно посмотрел на Васина:

— Своеобышный ты человек.

РЕБЯТА

Федька свесил ноги через жерди потолка в коровнике и заявил:

— Я, как вырасту, цыганом буду.

— Эка, нашел чего, — замечает Санька, — цыганом-то надо лошадей знать!

— Я у лошади все нутро соглядаю, — хвастает Федька.

— Ну-ну, цыган какой!

— Вот хочешь, я у твоего отца такое сделаю — все лошади будут бояться.

— Что ты сделаешь?

Федька оглянулся:

— Волчьи зубы надо повесить.

Похоже на правду.

— А еще что ты знаешь?

— Так я и сказал.

— Да ничего ты не знаешь.

Федьку задело, открывает еще секрет:

— Если в кормушку бросить тертое яблоко, конь нипочем есть сена не станет.

— Врешь.

— Попробуй! Яблочный дух коню последнее дело.

Еще Федька объяснил, что у коней, когда продают, подглазницы надо надувать и выпоить коню сороковку — и все уверились: Федька большой знаток. С тех пор звали его Цыганом, хотя морда у него широкая, волосы кудельные и нос разлапистый.

Петьку — он сидит молча — прозвали Безлошад-

ный, хотя его отец пропил только сбрую и теперь ездил на веревочной. Смеялись, когда петькин отец выезжал на длинных крестьянских дрогах, серая лошадка, похожая на мышь, и веревочная сбруя.

Ребята долго сидят на потолке коровника — тепло. Их слышно, но не видно. Когда вдали голоса — сыпятся вниз горохом. Санька успевал еще перекувырнуться в воздухе, как оладья, а Петька плюхается комком грязи. Цыган лихо падает на носки.

Петька Безлошадный тоже нашел чем гордиться:

— Я печником буду. Знаю секрет — лихому человеку так выложу печь, что с избы сбежит.

— Бреешь?

— Нет, не брешу. Надо заложить в кладку кость с ртутью. Как затопить — вой на всю улицу.

Бегали смотреть на нового учителя. Он возит из леса дрова с инвалидом. Учитель не понравился — молодой. Смеялись, когда лошадь у него заступила повод и учитель долго возился, берясь то за одну, то за другую ногу лошади, пока освободил. Когда учитель запрягал, Цыган нарочно коверкал слова, давая указания:

— Холову! Не задирай ей холову.

Решили твердо — когда начнутся занятия, не давать учителю слово сказать, пусть присылают кого постарше. Дома будут пороть — выхлестать в школе окна.

**

Учителя прислали поздно, уже зима, у ребят надежда — школу, Бог даст, эту зиму и не откроют.

— Не надо даваться, — советует Безлошадный.

К тому же Цыган заколдовал школу, чтоб никогда не открылась. Перед крыльцом закопали кость и Цыган закатил глаза, читая зарок:

— Благослови, Господи Боже. Как не льнут ни уреки, ни призоры, ни лихие глаза, ни железный зол булат, так и ко мне, рабу Божию, не льнули бы ни уреки, ни призоры, ни лихие слова, ни своя дума. Будьте мои молодецкие слова небо ключ, земля замок, на ход сажень, на воск кремень.

**
*

— Цыган, Расскажи что-нибудь!

Цыган сидит, уставясь в одну точку. Глаза у него безжизненны, губы полураскрыты: точь в точь его бабка, что знает наговоры и плачет по покойникам. Вот сейчас из-под шапки вывалятся серые патлы, появятся морщины и бабка страшным голосом начнет бормотать:

«Простите, буйные ветры и вихори, раба Божьего, меня, Ивана. Бывает, я вас обругал или мыслями помыслил, или думую подумал, простите меня, раба Божьего Ивана. Прости, лесной хозяин, бывает, я тебя обругал или мыслями подумал — прости меня, раба Божьего Ивана...»

Или, как все это видели у бабки, вдруг лицо исказится, посыпались крупные слезы и надрывно заголосит:

«Ты послухай-ко, родитель мой тятенька,

— С кем мы жить будем нонь, победные головушки.
Как мы будем ухаживать дворовую скотинушку,
И как мы будем запахивать поля да хлебородные...».

— Слышь, Расскажи нам что-нибудь, — толкают ребята Цыгана.

Цыган любит стихи и запоминает враз, что бы ему ни попало, но они сейчас же переключаются у него на бабкин лад.

— И пал мор на селенье христианское, — хриплым голосом начинает Цыган, — что ни день, то по покойнику. Обуял всех страх, вой и плач стоят. Страхом Божиим все прониклися, молодые же все в отчаянность, выносили столы на улицу, вином прохлаждаются, шуткой песнею ободряются. Сам хозяин тут поднимается, держит речь гостям. Сколько было нас — гостям сказывают, — сколько есть теперь. А на завтра — воля Божия. Воспой, красавица, твою песню сладкую, голоском твоим сладко-ангельским...

— Ох, какая горестная! Откуда взял? — не вытерпел Безлошадный.

— Встала тут красавица, гостям кланяется, — продолжает Цыган, — ей от роду все шешнадцать лет, собой худенькая да пригожая. Вплеснула она ручками, на небо ясное взглядывает, и слеза у ней покати-лася. И вздохнули все за свою жизнь пропащую. Милые мои, — запела, — товарищи. Кого, бывает, я обидела, о ком бранно, бывает, подумала — простите меня, люди добрые.

— Страшно, когда мор, — поеживается Санька.

— А знаешь, что дальше было? — спрашивает Цыган. В коровнике совсем темно, что-то заворошило в сене. — Знаешь, что дальше было? — Цыган вскакивает, лицо его смутно белеет в темноте и опять колдовским голосом:

— Вдруг по улице воз гремит. На возу покойники. Около возу том арап страшнейший... Здравствуйте, говорит, люди гулящие. На возу у меня место свободное, у кого не дрожат резвы ноженки...

— Трах — что-то надломилось под Санькой, он летит вниз, за ним Безлошадный и Цыган.

Корова шарахнулась, треснула боком перегород-

ку, испуганным оком глядит на копающихся в соломе ребят — ищут шапку.



В прогалину между елочек и папортников — мороз на оконном стекле — показались чьи-то глаза и расплуснутый о стекло нос. Колька — озираясь на мать, не послала бы куда — схватил за рукав полушубок и волоком за собой, по пути нахлобучивая шапку.

— Ты что, Вань?

Приятель, только что заглядывавший в окно, торопливо зашептал:

— Наши крепость берут, сил не хватает. Айда скорей!

Кинулись рысью, впереди их собака — морда облеплена снегом, а глаза развеселые.



На задворках села строят колесо. Насаживают старое колесо от телеги на ось-палку, врытую стоймя в снег. Топчутся кругом, обминая снег и, наконец, порывшись в полушубке, пускают на основание палки шесть струй — по числу ребят. Пока подмерзнет и скует льдом, к колесу привязывают длинную жердь и на конце ее санки. Сейчас кто-то помчится по кругу, пока не сбросит носом в снег.

Идущего по улице учителя нагнал запыхавшийся Петька:

— Пойдем, что-то тебе покажу!

Двор у петькина отца крытый, там даже днем темно, устлан жердями, сбоку стоит пристройка, туда и пошли. Петька приподнял крышку на полу, — мрачное подполье.

— Не шевелись! — сделал страшные глаза Петька.

Взял блюдечко, налил туда молока и поставил у

входа в подполье. Полузакрыв глаза начал тихонько посвистывать. Свист продолжается долго, как вдруг около блюдечка учитель заметил треугольную головку змеи, с желтым пятнышком на затылке — уж. Змея вытянула головку, блеснула агатовыми глазками туда-сюда, вытянула язычек-вилочку и пьет молоко.

Петька гордо блестит глазами на учителя, а тот сделал восхищенное лицо, не шелохнется.

**
*

Поехать в лес с отцом, побежать на реку к проруби, покататься с горы на санках...

В школу идти? Если бы вас спросить: хотите чумы?

**
*

В избе у Ефима работает шерстобит. Баба принесла волну шерсти и вываливает с подола на стол. Шерстобит взял лампочку, подносит ближе к шерсти, всматривается. На палатах, свеся голову, лежит Мишка.

Ззз-ззз, — сонно запела струна шерстобита, от шерсти взвивается пыль. Сегодня к вечеру снег повалил хлопьями — говорят, к богатству. Эта струна — спать от нее хочется. Ззз-ззз. Мишке снится высеченный из вихря огненнокрасный петух. Какая-то рыба в кованной чешуе, стеной стоят разные папортники — оттуда несется ззм-ззм.

Один из участников боя у крепости выпросил у матери еще до ужина краюху хлеба с коровью голову, посыпал солью, съел вмиг. Залез в чугунок — слопал пять картофелин. Увидел молоко — выпил до суха. Поколотил себя по набитому брюху и нет его, разлучился с миром, спит.

Мать заботливо прикрыла его шубой, глядит на клюквенно-красные щеки, на сочные ребячьи губы.

— Спи, разбойник.

**
*

Снег валит охапками. Давно занесена темная полоса дороги, белые шапки на крышах растут, один за одним погасли багровые огоньки в окнах — завтра проснется село под аршинной пеленой пухлого снега, ласкового, как гагачий пух.

В лесу с обмшелого дерева свешивается борода-тая голова глухаря, он издает странно-скрежещущий звук на стоящего внизу волка.

**
*

Васин за эти дни сблизился с Семеном и со многими на селе свел знакомство.

— Вот, Семен, в последний раз с тобой еду. Надо начинать занятия в школе, — говорит Васин. Они только что выбрались с дровами из целины и сейчас отдыхают.

В село въехали почти затемно. Улицы полны ребяташек, еще не загнанных в избу, у многих самодельные санки — облитые льдом корзины и ящики. Их обскакивает, еще больше их веселясь, неприменный и искренний друг — собачья молодежь.

Подъезжая к дому Поцелуева, встретили на улице двух мужиков, оба пьяные. Один ведет под руку другого. Они только что подрались. Которого ведут, у того полушубок разорван, из носа течет кровь, он дико орет, размахивая руками.

— Ишь, печальная краса, — подмигивает Семен на окровавленного мужика.

Дрова сложили, как всегда, тщательно. Васин оставил лошадь Семену и пошел к Поцелуеву за расчетом.

Поцелуев одобрил решение начинать занятия в школе:

— Не дрова возить вас сюда посылали. Чай, жалование идет.

Выдать заработанные деньги он, однако, отказался и сразу перешел на ты:

— Какие тебе деньги, что ты! Вот запишу и набирай товару. За Поцелуевым не пропадет.

Васин помялся и, не прощаясь, вышел. Вдогонку Поцелуев кричит:

— Ты еще сюда не приехал, а в кредит ко мне полез. Чай, ко мне прибежал Степан мерзавчик для тебя взять. Небось, тогда ты рыло не воротил?

Передавая Васину возжи, Семен тихонько спросил:

— Рассчитался?

— Чорта с два. Говорит — запишу, бери товар.

**
*

— Ну как ты мог невежливость ему показать? — расстроился Степан, — покориться надо, не один ты. Поцелуев на тебя поднимется, тебе не учительствовать. Помяни мое слово.

Уже подавая самовар, Степан вспомнил:

— С почты приходили, посылка тебе.

Васин сорвался:

— Побегу, а то поздно будет.

В посылке тайное оружие, им он надеется победить ребят. Выписал на свои, кровные.

Почтовая контора недалеко от школы. За решеткой седенький старичок, в расстегнутой рубаше, плавит над свечкой сургуч. Взглянул поверх очков на вошедшего и сразу приветливо закричал:

— Господин учитель, пожалуйста!

Встал, отворил решетку, зовет к себе. Из-за плеча Васина просунулась какая-то старуха:

— Батюшка начальник, не пишет ли мой-то?

Старичок замахал руками:

— Завтра приходите, завтра. Присутствие закрыто.

Держа за руку Васина, будто тот хочет убежать, кричит, оборачиваясь на внутреннюю дверь:

— Жена, гость пришел!

В дверях появилась женщина чрезмерной толщины, глаза маленькие, губы от приветливости стали вертикально:

— Наконец-то пожаловали!

Васин с удовольствием пьет чай, заваренный не степановой рукой, кладет варенье на блюдечко, едва успевает отвечать на вопросы.

— Вот Маничка-то обрадуется, — вздыхает почтмейстерша, — дочка наша, в прогимназии учится. Приедет на Рождество, познакомитесь.

Хозяин взглянул на жену, потом на Васина, что-то обдумывая.

— Какие теперь молодые люди легкомысленные, транжиры, — обратился он к Васину.

— Это вы мне? Почему же?

— Да вот хоть посылка. Зачем казну обогащать? Могли попутному ямщику сказать, он бы и доставил, вдвое дешевле обошлось бы.

Провожая Васина, хозяйка еще раз сказала:

— Вот Маничка обрадуется. Мы на Рождестве вечер устроим, с танцами. Уж не забудьте.

**
*

У станового сборы: в соседнем селе убили лесника, надо ехать на следствие и составлять протокол. Нарочный, прискакавший верхом, ничего объяснить не может. Только и знал, что жена убитого в одном платье выскочила из избы, а изба выстужается.

Становой начинает сердиться:

— Что ты мне всё пустяки, ты скажи, как обнаружили, на кого подозрение.

— Ничего не знаю, ваше благородие. Молодка-то застудилась, с голоса сорвалась, ее бабы силой увели. А ребята...

— Ну, довольно. Скачи назад, скажи, чтоб до меня не прикасались к телу, приставили понятых. Пусть староста послушает, что в народе. Я сейчас приеду.

Пока послали за лошадьми и письмоводителем, становой надел мундир, пристегнул шашку, подфабрил усы, закусил и выпил на дорогу.

Совсем некстати является Поцелуев:

— Вот, становой, тебе заявление, а ты произведи следствие.

— В чем дело?

— Почему учитель Васин не начинает занятия? Почему он переоделся мужиком и возит дрова, общаясь с инвалидом, элементом недовольным, может забастовщиком?

— Полно, он завтра начинает. Говорит, учебные пособия ждал. Ты что — верно за работу ему не заплатил?

— Нет, все до копейки записано. А только он со мной хамом держится. Вышел не попрощавшись, таким фертом, да еще при народе.

Под окном звон колокольцов — поданы лошади.

— Ладно, потом поговорим. А ты бы лучше не записывал, а заплатил что следует.

Становой выглянул в окно. У подъезда тройка — сколько трудов стоило ему подобрать такой выезд. Кучер в шапке с бобровой опушкой, петушиные перья сбоку. У коренной голова подтянута к поднебесью, пристяжные со звездочкой и в белых чулочках, вся запряжка одномастная. Дуга усыпана шляп-

ками медных гвоздей, ошейники с крупными бубенцами — сам в городе искал. Сбруя в бляшках, с кистями, цепочками, колокольчики серебряного сплава. Сам исправник завидует этой тройке.

Поцелуев видел, как усаживались, какую осанку принял становой и как, сжавшись в комочек, сидит сбоку письмоводитель с портфелем. Кучер натянул возжи, лошади заплясали, враз грянули колокольцы — в облаке снежной пыли тройка пропала.

**
*

Степан сидит у себя в каморке и набивает учителью папиросы, эту обязанность он добровольно взял на себя. Собрал горку набитых, прикинул на глаз сколько и решает:

«Набью еще штук пятьдесят и тогда пойду по дворам, оповещать, чтоб ребят завтра присылали в школу».

За дверью сладко хрюкнуло, заскреблось и вваливается красномордый мальчишка. Голова повязана бабьим платком, сверху нахлобучил шапку.

— Здравствуй, дедушка Степан.

— Здравствуй. Чей ты, чего надобно?

Мальчишка потянул носом, утерся варежкой — на морозе ничего, а в тепле вот поди ж ты! — бойко затараторил:

— Зиновей сын. Мать прислала — когда ученье начнется?

— Скажи — завтра. Я сейчас сам пойду по дворам, оповещу.

— Я, дедушка Степан, все равно учиться буду, если не тяжело, а ребята не хотят.

— Драть будут.

— Нипочем не хотят. А если драть, говорят, — окна выхлещем.

— Я те выхлещу.

— Да я что, дедушка Степан, я как ребята. Только, конечно, учитель больно молодой — смехота.

— Я те дам «молодой».

— Будто настоящие-то, старые, по большим седам пошли, а нам дали самого молодого, никудышного.

— Э, да ты видно ходоком сюда послан? Я тебя! У-дди, убью!

Мальчишка шмыгнул за дверь и оттуда высунул голову:

— Меня отец-мать не драли, а я тебе дамся? Выкуси! — к Степану потянулся кукиш.

— Ах тебя! — сорвался Степан. Но мальчишки и след простыл, только на улице слышится смех и оживленные голоса.

— Ишь ты, ходок, — ворчит Степан, возвращаясь на свое место, — какой необоснованный народ. Хлебом мы с Петром горюшка.

**

Васин поставил стол, на него табурет и забравшись наверх, прибывает в классе провода. Является Степан.

— Ну, завтра, Степан, начнем.

— С Богом. Боюсь только, как бы у тебя нитка то сразу не перетерлась.

— Страх — субстанция темноты.

— Ась?

— Я говорю, что искушен хлебом, властью и чудом: эгоизм, насилие и красота.

— Ты сегодня, Петр, как солонка кривая, что на столе не стоит. Накатывает на тебя.

В ШКОЛЕ

Собраться сказано к восьми, а уж с семи часов в классе шум и гам. Мальчишки пришли, кто с ломтем хлеба за пазухой, кто с сумкой — говорят, книжки будут раздавать. В общем, интересно и ново. Решение бунтовать как-то поколебалось. Но до урока еще далеко, начинаются споры, борьба, бахвальство. К восьми это буйная толпа.

Около Саньки Поцелуева все отпетые: Безлошадный, сын Зиновья, Цыган и еще с пяток таких же. Нечется писк, вой, хрюканье. Санька пускает ядовитую ложь:

— Учитель-то сам едва грамотный.

Настежь растворяется дверь, входит Степан. Он в военном мундире, постройки лет сорок назад. На груди ярко-начищенная медаль. Мальчики разинули рот. Степан, не глядя, сталкивая с дороги, кто повернулся, идет к красному углу. Стал на табурет, зажег лампаду. Слез, перекрестился, табуретку на место и вышел.

Гул заметно стих. Все головы повернулись — в дверях батюшка, учитель и Степан. Без команды вся орава встала, глядит на спины взрослых в красном углу. Жуткие и непонятные слова молитвы: «Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, в вышних живой и на смиренные призирай...» Один за другим начинают креститься, стараясь не смотреть друг на друга.

Голос отца Алексея трогательный и Степан тяжело

вздыхнул. Батюшка повернулся к классу и, благословляя, кончает: «Ты бо еси истинный Свет, просвещающий и освещающий всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь».

Священник помолчал, положил руку на плечо Васина и произнес:

— Вот ваш учитель, дети. Повинуйтесь ему и приобретайте свет разума.

**
**

Займи Васин сейчас же место за столом и начни урок — все обошлось бы благополучно. Но Васин не хотел полупобеды. Крестьянские дети сробели перед молитвой, но тем больше озвереют потом. Лучше принять бой лицом к лицу.

— Посидите, ребята, я провожу батюшку и вернусь.

У-лю-лю... Хрю-хрю... Кукареку... Гав-гав — и над всем этим разбойничий свист. Так встречают Васина.

Он садится за стол и слышит:

— Эй, сколько тебе лет?

— Почем с воза дрова возишь?

Общий смех и сразу опять все заулюлюкали, хрюк и крик на все голоса.

Тогда-то и раздался этот странный, неслышанный звон: тр-rrrrrr. Оглядываются, переводят недоуменный взгляд на учителя. Он нажимает пальцем — звон, отнял — тихо. Хохот, удивление.

— Вот, могу вас научить, в каждой избе устройте такой звонок.

— Сами?

— Конечно, сами. Поди сюда, — дружески обращается он к одному, — видишь, железные опилки рассыпаны. Смотри! — Васин орудует магнитом, собирая опилки. Весь класс сгрудился около него. Бездо-

шадный выпросил магнит и поднимает с полу иголку.
— А теперь по местам!

— Что ж, коли так... — примирительно шепчутся двое.

— Что будет с коровой после трех лет, кто знает?
Под общий хохот учитель ответил сам себе:

— Ей пойдет четвертый год.

— А что будет, — раздается тонкий голос с парт,
— «один заварил, другой налил, сколько ни хлебай — на всех хватит».

— Книга! — перебивают друг друга сразу трое.

— А где в России такой говор: «У меня дроля проеждал, ночь была туманная, серой кепоцкой махал».

Ребята смеются, просят повторить.

— Нигде не говорят так, ты сам выдумал!

От двери раздается бас Степана:

— Архангельские, сам слышал.

Васин вытаскивает компас, показывает север и юг, и как в лесу с компасом не заблудиться — и пошел и пошел, до Архангельска не дошел, как кричит:

— Айда по домам! Завтра приходите.

Ребята оглянулись — солнце за полдень.

**
*

— Это ты верно, — говорит Степан, — одним амином квашни не замесишь.

Вечером явился Безлошадный. В руках у него коробочка.

— На, возьми, — протягивает Васину.

Раскрыл Васин — ртуть.

— Откуда у тебя? — спрашивает с похолодевшим сердцем.

— Ты не серчай. Я думал, все равно разбивать будем... градусник.

— Да зачем тебе ртуть?

Безлошадный усмехнулся, от смущения потянул носом, но дружба за дружбу, так и быть, откроет секрет:

— Если в печку заделать кость с ртутью, то воеет, не приведи Господь.

Жалко градусника, слава Богу хоть не казенный, но повинную голову меч не сечет.

— Ну ладно, Бог с тобой, другой заведем.

— А поправить никак нельзя?

Безлошадный просит, чтоб ему первому показать, как сделать электрический звонок.

— Зачем тебе?

— Да я к деду на полати бы провел. Он заснет — я тихонько звякну. Отругается, заснет — я опять. Хы-хы...

Разговорились, оказывается есть еще мысль:

— В отхожее место провести звонок — пугать.

**

Васин понял: этих ребят надо учить так, чтобы им сразу польза или сказка виделась. Но как соединить арифметику со сказкой, а грамматику с осязаемой сейчас же пользой! Подите вы с вашими существительными да глаголами.

Думать не над уроками, а хитростями — вот сельский учитель. И тут же ясно — времени в обрез, на себя ничего не остается.

Насочинит веселую задачу, а сам посматривает. Вот Кондратий — красоты женской: махровые ресницы, румянец, соболиные брови дугой. Илья — востроносый, маленький, глазки юркие. Харлампий думает тускло, но выворачивает с самого дна. Сияющий радостный Семен. Петьки, Ваньки, Андрюшки — все они теперь благоприятели.

Школу открывают в семь, а уж толпа ждет, как воробьи осыпали крыльцо. Иногда на уроке удается

остро-занятое: мальчишки подняли голову, как птица, когда пьет. Беда тогда вмешаться озорнику: оборвут, поднимая крик, будто собака заскочила на кон.

Вспоминается сельский учитель, как он видел его когда-то городскими глазами: угловатый, смиренно-учтивый, скромно взирающий на городских золотоцветов.

**
*

Перед праздником настроение не совсем обычное и учитель устраивает урок — «смесь»: ребята рассказывают по группам, каждой свое, а учитель ходит от одних к другим.

Тишина потрясающая. Мальчишки сопят, вздыхают, скребут в затылке, один высунул язык до невозможности, другой поднял коленки выше головы, — все это страшно помогает.

Кондратий и с ним еще трое, любят путешествовать. Значит — география. Сидят над слепой картой и сообща ведут Гвадалквивир. Что творится в голове этих ребят? У Кондратия глаза тусклые, губы полураскрыты — перед ним шумит-бежит Гвадалквивир, там крокодилы, удавы и звенит гитара. И несет ребят, несет, но как птичка — поет, а выразить словами не может.

Харламбий в серьезной группе — арифметика. В колодец поступает столько-то ведер, а Харламбий вычерпывает столько-то. В котором часу он управится?

Этот, по прозвищу Цыган, с ним беда — занимается рисованием, но изображает только лошадей. Сейчас нарисовал невозможную лошадь, что-то объясняет на ухо учителю. Тот согласно кивает головой и мысленно представляет описание не цыгановыми словами, а другими: — Златошерстая кобылка. Гнедая, с золотым отливом, провести рукой по шерсти — золото искрой. Головка сухая, глаза раскосые, ушки сторожкие, ноздри откровенные. Завиточек — зве-

здочка на лбу, ножки в светлых чулочках, стройненькая. Гривку поддать на ладошке — взметается легким волосом. А копытом кинет — цок-цок.

Все это на картинке Цыганом точно изображено.

— Вот бы я любил такую, — шепчет Цыган, — кроме овса ничего бы и не знала, а то ячменю для кругловатости. А вот здесь, смотри, другой конь — карий, с ремнем во всю спину, ушки поротые, грива на левую сторону, копыто стаканчиком...

Тут природоведение, сидят агрономы. Учитель насочинил — один из агрономов будто бы пришел к тетке Аксинье и уверил, знает удобрение, от него огурцы будут расти с усиками. Сделали удобрение, осенью уродилось — огурцов нет, а только одни усики. Аксинья пришла жаловаться:

«Как это понимать?» — спрашивает.

«Это, наверное, кто-нибудь из моих ребят, — отвечает учитель, — наука гласит: интересное явление природы».

«Ну вас к Богу!» — махнула рукой тетка, но удобрение оставила, и через год начали у ней расти огурцы невиданные, — усики стрелкой, усики колечком, Тарас Бульба, ус с подъяусником, усишко-запятая. Из города к ней приезжали за огурцами!

Агрономы спрашивают учителя:

— А знаешь, чем рыбу усыпляют в пруду?

— Ну?

— Кукельваном. Ты знаешь кукельван?

Учитель иногда поражается: вдруг мальчик на него взглянет таким острым взглядом. А то — чудо зачатия улыбки — хочешь не хочешь и самому улыбнуться. Верно чудо: губы чуть дрогнули, в глазах огонек и зубы блеснули.

**
*

В школе с ребятами в ход пущено все, игра на

самолюбии, зуд соперничества, необузданная фантазия — сам учитель теряет землю под ногой.

Но и правда — с деревенскими легко, кровь здоровая.

Харлампий сам дорвался до Малинина-Буренина. Дать ему задачу и, как зайца хлестнул из ружья — кувырк, нечего справляться в ответах. Кондратий, Федька — да все помаленьку. Но — руби столбы, забор сам повалится — Васин напирает на трех-четырех, от них идут круги к остальным: стратегия.

Порой одолевают гордые мечты. Приедет весной на экзамены чиновник, вот поразить бы его, чтоб долго рассказывал о нашей школе. Тогда учителю — ух! — дали бы полную волю: учи как хочешь.

Харлампия хочется иногда взять за веснушчатую морду — пес, милый, дай я тебя поцелую. До чего остер!

Нет, конокрадом Цыгану уж не быть. Книжек нам скорей, книжек, — хочется вопить учителю. Но разве на Цыгана напасешься: князя Серебряного третий раз читает, Кольцова наизусть, над Руслан-Людмилой вздохнул:

— Вот бы такому складу научиться.

Дать учителю теперь рай — не согласится, пока не доучит вот хоть этих.

**

День выпал хлопотливый. Ребята на уроке отвлекают важными вопросами:

— Почему окунь, если посадить его в ведро, темнеет?

— Почему птицы не клюют клопов?

— Почему собака не потеет?

Сами они наперебой объясняют учителю как угадать погоду.

Иногда Васину кажется, он дорого бы дал, чтобы

глядя на звездное небо, верить: звезды — лампадки, небо — твердый свод. Заглядевшись на веснушчатые лица ребят, он совсем сбился с толку, когда его спросили, почему разбуженный от спячки медведь второй раз не может заснуть и остаток зимы ходит хмурый, злой, недовольный.

**
*

Случайно Васин подслушал, как Цыган рассказывал что-то своему маленькому племяннику:

— Кто там в закроме — живет? Мышь проснулась, повернулась, поглядела, на ножки встала, хвостиком метнула, побежала...

Маленький сидел, не сводя очарованных глаз с Цыгана. А тот продолжает без остановки, лишь слегка играя голосом.

— Постояла, отдохнула, пошла, скакнула...

Вспомнилось, как ребята в классе враз заучивали понравившиеся им:

«В ночь погода зашумела, взволновалась река, уж лучина догорела... дети СПЯТ, хозяйка ДРЕМЛЕТ, на палатях муж ЛЕЖИТ, буря ВОЕТ...»

Действие, одно действие — движение — только оно одно и возбуждает детей. И игры тоже: только потом придут шашки да карты.

— Цыганок, ты нарочно маленьким рассказываешь не так, как большим? — спросил позже учитель.

— Да нет, — смутился Цыган, — я это шутейно.

**
*

Раскрывается дверь, боком ввалилась в школу закутанная в платок бабка Устинья. Распутывается минуты две, громко дыша, пока не обнаруживает коричневое лицо, маленькие колючие глазки, нос, почти присохший к острому подбородку, вся в морщинах, ни баба, ни мужик — сморчок.

— Ты что же, учитель, срамишь меня, Федьку одним лошадям учишь?

— Садись, бабка. Лошади само собою, а Федька и другому учиться.

— А ты лошадей ему запрети, и так уж ребята его Цыганом кличут. Сирота он, без отца-матери. Вдруг в конокрады пойдет.

— Что ты, бабка, — вступился сторож Степан.

— Ты молчи, не с тобой говорят, смущаешь только. А ты, — обращается она к учителю, — не доверяйся людям-то.

— Каким людям?

— Да хоть тому же становому. Сопьешься. Уж очень ты прост. А у людей хитрость изысканная. Ходит, согнувшись, в унынии, а внутри полон коварства. Поник лицом, притворяется глухим — подцепит тебя, придет его время.

— Да против кого ты, — поражается учитель, — на станового как будто не похоже?

— А против всех. Хотя бы и становой твой тоже. Помяни мое слово — наживешь с ним беду.

— Ну и ведьма, — не стерпел Степан, — сидела бы лучше дома, да ворожила с чертями.

— А ты не поминай, он легок на помине, сейчас тут как тут! — бабка зловеще сверкнула из-под нависших бровей, — а что гаданье да приметы, то они наполняют сердце мечтами, без них трудно жить.

— Выпьешь чайку, бабка?

— На чужой-то я не охотница. Хоть жидкий, а свой. Разве одну чашечку только.

Бабка выпила чашку, покраснелась.

— Ты что на меня уставился? — закричала вдруг на Степана.

— Смотрю, какая ты была пригожая.

— Ври под пятницу-то.

— Пра, пригожая была. Будь я в твоё время — ухватил бы.

-- Ухватил один такой.

Учитель сидит, улыбается. Бабка совсем рассердилась:

— Ты что тут улыбаешься? Ишь какой зловредный. Если бы знато, и не пришла бы. Прямо из себя меня воротит, как на тебя посмотрю.

— Музыкальная бабка, — говорит Степан, когда захлопнулась дверь за старухой, — нарядилась, платок на ней — заметил? — елового цвета в шишечку.

**
*

Уж века, кажется Васину, он в этой школе, забыв о другой жизни. Вспомнил, как в день открытия занятий батюшка служил молебен. Как по окончании он повернулся к детям и, благословляя их, сказал:

— Вот ваш учитель, дети. Повинуйтесь ему и приобретайте свет разума.

Было тогда Васину радостно и светло, все предстоящее казалось легким.

**
*

Только Поцелуев бы не заглодал. Васин как-то зашел к нему. Больной, мрачный, злой. Горящие глаза в темных впадинах. Руки не протянул и сразу крик:

— Не позволю в нашей школе разврат устраивать!

— Какой разврат?

— Что это за электрический звонок, для какого восторга?

— Поднять интерес к школе.

— Нету этого в программах. Снять и больше ничего!

Так и пришлось уйти без примирения. Перед Степаном оправдывается:

— Что ж, позволить ему измываться?

— Да-таки, скотина. Чешется у него сердце на тебя.

**
*

Становой сам пришел к учителю. У Васина ребятишки — как раз решался важный вопрос, где достать свинца, заливать бабки, и нельзя ли чем его заменить. При виде станового они сразу ушли.

— Вот какое дело, учитель, — говорит становой, похлопывая Васина по плечу, — надо бы как-нибудь помириться с Поцелуевым.

— Да ведь уж очень унижительно исполнять явно дурацкое требование — убрать звонок.

— Донос пошлет. И меня вмешает. Не знаю, что и делать.

— Ну, хорошо: уберу звонок. Но разве он остановится? Просто не влюбил он меня. Главное ему, что я ссыльный. Я бы бросил всё, уехал, да ребятишек жалко, опять учебный год пропадет.

— Нет, это не дело. Знаете что? — хлопнул становой себя по лбу, — нашел! Перенесите звонок к двери. Полное римское право, никто не может воспрепятствовать. Чем стучать в двери, будут звонить.

— Ну, хорошо. Завтра же с ребятами сделаю, — соглашается Васин.

МУЖИКИ

У Акима в избе тесно. Баба возится у печи с ухватом, что-то не ладится, она срывает зло на Акиме. Тот сидит, заняв всю лавку, ковыряет шилом хомут.

— И что ты с утра расселся в избе! Пошел бы на дворе что сделал.

— Тебя не спросил. Хомут-то чинить надо?

Входит Прокоп, мужиченко с вислыми ушами.

— Здорово хозяевам!

Садится на лавку, поглядел на хомут:

— Поистрепался у тебя хомут-то. Это все тот же, давешний?

Молчат. Перед окном мелькнула тень, погода за-скребло в сенцах и входит Иннокентий — высокий, худой, лицо в морщинах, один глаз прищурен.

— Здорово, православные. Ишь работнички: один хомут чинит, а другой глядит.

— Садись и ты. Отдыхаешь, заработался?

Хозяйка, не оглядываясь, говорит в печку:

— Вот, полная компания. Накурят теперь.

Действительно: вытащил кто-то кисет — разноцветные лоскутки, сбоку кисточка — завертывают козью ножку и все трое задымили.

— Пока-что, может перекинемся? — вынимает Прокоп засаленную колоду карт.

Сдают по пяти карт — дурачки. Хомут с воткну-тым в него шилом — в сторону.

— Пошли!

— А это видел?

— Не мухлуй, чем кроешь!

Минут через десять взрыв безудержного детского смеха. — Аким в дураках. Вислоухий — ему сдавать — перегибается пополам, на губах вскипают пузыри, валится на лавку, блеет тонким голосом:

— По—чтение, Аким Петрович... хха—хха... с чином... ах, язви тебя... ххх...

Сердитая хозяйка покосилась и вдруг на загорелом лице полосонули белизной зубы, не стерпела и прыснула:

— Ну, и дураки, прости Господи.

**
*

Завтра Николин день, повсюду суетня. Акимиха наварила полный чугунок щей — к празднику — а вытащить не может: горшок цепляет за под печи — уступочек.

— Чтоб тебя, — кричит на мужа, — всю зиму хомут чинит, нет, чтоб подмазать глиной, видишь — под выгорел.

— Где я тебе глину зимой-то возьму?

— «Где, где»... Ах, чтоб тебя прорвало, — взвыла баба: чугунок одолел препятствие, однако всплеснул.

Но правда — Аким сегодня как раз и не занят хомутом, прилаживает на тулуп заплату из бараньей шкуры. Будет видно Акима теперь за версту — вполспины белая полоса.

Зашел Коровье Вымя. Вид у него праздничный: жена подстригла волосы под скобку, а бороду и усы стриг сам перед осколком зеркальца. Стриг, выпятивши бельма, рожу скосив, спирая дыхание.

— Запасся на праздничек? — спрашивает Акима.

— Да уж по положению.

— Я на волчьей ягоде настой сделал — одним стаканчиком с ног сбивает.

— Грехи наши, грехи, — облизнулся Аким.

— В бане был?

— Топят.

— Пойду дальше. А что я про учителя-то говорил, — вспомнил у дверей Коровье Вымя, — ведь верно: оказался.

— Чего оказался?

— Да разве ты не слышал? — звонок в школе устроил. До чего хитрый народ, и здесь ловчатся. Чем ему ребятам урок сказывать, сидит и звонит.

Аким молчит.

— Лавочник говорит: мы этого учителя заставим пятками наперед ходить. Пра-вильно. Напоить бы его завтра на празднике, да орясиной, будь он трижды проклят.

— Да оставь ты свои жестокие проклинательства!

— Паука убить сорок грехов прощается, а тут такое дело...

**
*

Перед лавкой «Казенная продажа напитков» — монополька — с утра толпа. Сани запрудили всю улицу, шум, гам. Мужик протискивается из лавки, бережно неся две четверти. Заладив их в сено, вытаскивает мерзавчик, пьет из горлышка. Пьяница Изотка хлопочет около мужиков, молит:

— Оставь хоть на донышке!

В лавке продавщица мечется за сеткой, щелкает на счетах, просовывает посуду в окошко.

— Иван, не задерживай!

— Мать, не хватает гривенника — поверишь?

— Дай ему в шею, чего задерживает. Мне до тем-на домой надо поспеть.

— Прощай, мамаша. От нас забыта не будешь.

Старик привязался к продавщице дать ему в долг, снимает полушубок в заклад.

— Да ты что, очумел? Кабак тебе здесь, что ли?
— кричит на него продавщица.

— Не уйду, мамаша, без вина, невозможно. Дай хоть двадцатку; после праздника принесу деньги с благодарностью и низменным поклоном.

— Уходи, уходи.

— Умру здесь, не уйду.

Старик по воздуху летит на руках толпы к выходу.

И вдруг, в три часа дня, окошечко захлопывается — перед праздником положено закрывать раньше.

— Мать честная, что ж теперь делать, православные? — в отчаянии вскрикивает мужик, шапку о землю.

— Какой кронболь, — чешет в затылке другой.

— Благодетельница, — стучится в двери приезжий, — только мне еще отпусти, мы дальние. Заставь за себя Бога молить.

— Ну и женщина, — кивает в сторону лавки бараний тулуп, — кремень.

**

Со двора Прокопа доносятся крики. Проходящего мимо учителя окликает Прокоп:

— Учитель, зайди на минутку, рассуди нас с бабой.

— Ну, что тут у вас?

— Да — корова. Старуха норовит подстилку ей лучше дать, чем коню, таскает со стола куски для нее. Прямо первая личность эта корова.

— А молоко-то кто тебе дает? А масло? — яростно вмешивается старуха.

— Молчи! Не в том, однако, дело. Вот по пару этот год у меня рожь...

— Яровица?

— Нет, озимая. Не доглядел я осенью, а моя с

большого ума возьми да выгони корову подкормить-ся на озимом. Сейчас с ума это у меня не сходит.

— Тебе же на пользу. Всегда прежде выгоняли на зелень. Заведомо так.

— Постой, помолчи хоть при людях-то. Боюсь попортила эта проклятая корова.

— Сам ты проклятый.

— Молчи, дура. Скажи, учитель, большой вред может быть?

— Да, не хорошо это.

Прокоп сорвался с места:

— Что я тебе говорил? Что я тебе...

— Старики-то глупей нас были?

— Молчи, ведьма. Совсем она одурела с коровой.

— Сам молчи, леший!

Пошло жаркое дело. Учитель боком, боком и к двери. Уже на улице доносится до него:

— Возьму корову и уйду от тебя, окаянный!

— Чтоб ты лопнула вместе с коровой!

**
**

На улице Васин встречает Семена — инвалида, везет сено. Остановились поговорить.

— Велико у зимы брюхо-то, — говорит Семен, — опять стог пришлось начать. Ты что же — хотел спросить, российский?

— Нет, здешний, сибирский.

— Я российского сразу вижу: в глаза он долго смотреть не может. Скучаешь по городу-то?

— Да как сказать...

— По моему ничего хорошего там нет. Город живет хитростью.

— А деревня?

— А деревня — умом и работой.

— Как можно сказать, что деревня умом живет?

Семен от удивления даже не сразу ответил:

— А кто правду-то людям дает — образование? Христос-то в университете обучался? Близкозор ты.

Семен подобрал вожжи, готовясь тронуться, но не может успокоиться:

— Слово-то я тебе какое сказал — а? Христос-то, мол, в университетах обучался?

И уже зачмокав на лошадь, добавляет:

— В городе человек с пружины соскакивает. Червится разум у человека в городе-то.

**
*

Васин сидит и правит тетрадки учеников. Из-за стены доносится пение Степана, он убирает к празднику класс. Навязал на палку тряпицу, тычет ею в углы, размазывает копоть по стенам, как плачущий мальчишка грязь на лице. У печки висят волокна закоптелой паутины, до тех пор невидимые.

Васин не стерпел:

— Степан, ты чего там воешь?

— Иорданские псалмы, — появляется на пороге Степан. Он явился как бы собрав на себя всю грязь, с которой боролся, лицо в потеках, волосы в паутинах, руки черные.

— Ты скучаешь когда-нибудь, Степан?

— К непогоде вот поясницей сильно скучаю.

Учитель углубился в работу, забыл о Степане. Тот стоит у двери, заложив правую руку под левую мышку.

— Скорей бы уж праздники прошли, — вздыхает Степан.

— А тебе-то что?

— Да уж мужик-то очень портится за зиму — такой безобразный. Чарки частые, а голова одна. Ты бы и ужасился все увидеть, что на деревне по пьяному делу зимой бывает. На худое мы не ленивы.

— Весной опомнятся.

— Нет, ране — вот великий пост будет и как по-словица говорит: опала хмелина, опустились крылья соколиные. — Степан прислушался, с улицы доносится гармонь. — Вишь и праздника не дождались, гуляют.

В наступившей тишине Васин слышит, кто-то там озорным голосом вопит частушку:

«Юбку новую порвали. — И подбили левый глаз». Ти-лили, ти-лили, — смеется гармонь:

«Не брани меня, родная. — Это только первый раз».

— Ишь, разбирает их. А ты что все за тетрадка-ми, — обращается он к учителю, — ты не шибко на-легай, смотри, сбежишь.

РОЖДЕСТВО ТВОЕ...

В полночь Степан разбудил Васина — скоро заутреня. Васин вышел на крыльцо. Глухая ночь, но кой-где в избах играет огонь. Тишина кажется умышленной — до того тихо на селе. Но вот раздался звон, на колокольне зажгли плошки и сейчас же все село осветилось, в каждой избе огонь — Христос родился. По пути задвигались тени, идут к заутрене.

В церкви еще полутемно, свечи отражаются в золотых окладах. Таинственно мерцает скудный свет лампадки из алтаря. Одна за другой приходят в церковь старухи, прикладываются к иконам, ставят свечку. Собираются мужики — степенные, волосы причесаны гладко, крестятся широким крестом.

Когда церковь уж полна — в первые ряды прошли Афанасий Семеныч — почтовый начальник — с супругой и с ними приехавшая из города дочь — гимназистка: губы припухшие, как у долго спавшего ребенка, глаза большие, синие, носик заorno приподнят. Она истово крестится и когда опускает глаза, кажется, что тень от ресниц закрывает все лицо.

Васин сразу подтянулся, стал страшно парадный, но — почему он не смеет прямо взглянуть на нее? И будто сразу никого не стало в церкви, только она...

К концу службы Афанасий Семеныч протискался бочком к Васину и зашептал:

— Маничка приехала. Вот на днях устроим вечер, милости просим к нам, потанцуете.

Домой Васин идет взволнованный, полный светлых мыслей и чувств.

В школе, в его комнате, накрыт стол, сидит Степан и разговляется. Поздравились.

— Ты что сегодня: сам трезвый, а глаза пьяные, — спрашивает Степан.

Васин долго лежит, не засыпая. Одолевает тоска — подняться бы в такую жизнь, где только неиссякаемая радость... Ангелы подхватили Васина и понесли на седьмое небо, там он и заснул.

**
*

Утром к учителю пришли ребята, славить. Для них заготовлены пряники. Впереди Архип, за ним Ванька Безлошадный, черномазый по прозвищу Цыган, другие. Ребята здороваются, но проводят черту — пришли не в гости, а славить, держатся лицами.

— Дева днесь... — зверским голосом начинает Архип.

Спели, получили по прянику. Выскакивает Безлошадный:

— Дай вам Господи скота, живота, корову с теленочком, овцу с ягненочком, лошадь с жеребеночком, свинью с поросеночком. Открывайте сундучок, доставайте пятак.

Учитель полез в карман за денежкой, но Безлошадного отталкивает Цыган, затащил хриплым голосом:

— Как пришло Рождество к господину под окно. Ты вставай, господин, разбужай госпожу. Хлебом-солью нас корми, путь-дорожку укажи.

Ушла одна ватага, за ней вторая. Опять ввалились в полушубках, шарфах, некоторые под шапкой повязаны платком. Один, с облезлым носом, вытаскивает из-за пазухи ворону:

— Ученая!

Ворона запрыгала боком, как боец по кругу, одно крыло волочится по полу.

— Манька, — кричит на нее облупленный нос, — подь сюда! — хлопает он по одеялу.

Манька подпрыгнула и села на койку. Уставилась на подушку одним глазом и, широко расставляя лапы, и поворачивая то один бок, то другой, задвигалась к подушке.

— Манька, — окликнули ее, — Манька, лови, — ей бросают кусок бумаги.

Поймав бумажку, ворона растрепала ее, и не успели глазом моргнуть — хватъ со стола письмо и под кровать.

— Манька, Манька! — завопили ребята и кто-то полез уже под кровать, одни ноги наружу.

Ворона, от нее отобрали наконец письмо, подкралась к одному из мальчишек и, выхватив у него шапку, проворно кинулась бежать.

**

После ребят учитель занялся книжкой и очнулся от какого-то мокрого храпа за перегородкой. Пошел туда, там сторож Степан — заснул, сидя на стуле. Коленки выше головы. Голова клонится, сейчас нырнет между коленями, но он вздрогнет и опят все начинается сначала.

— Степан, язык прикусишь! — трясет его за плечо учитель.

— Ох, Господи, неужто заснул, — очнулся Степан. — Что ж, для праздничка не грешно, хватил стаканчик. Разве откажешься — скажут веры нездешней.

— Хор-то у нас какой хороший, — вспомнил учитель заутреню.

— Прежде еще громче был, — с достоинством возражает Степан. — Что хотел тебе сказать? — лавоч-

ник на тебя обижается, будто глазами ему грубишь. Не влюбил тебя, загрызет. Хоть бы тебе чин какой из города прислали. Книжки, говорит, со стихами читает — что этим достигается? Ох, Господи, даруй ми зрети моя прегрешения. По гостям пойдешь?

**
*

У Андрея-возчика в избе сине от махорки, полно народу.

— Садись, учитель, гостем будешь, — говорит Андрей, выходя к гостю неверной походкой.

Прямо с колена наливает из четверти стаканчик:

— Выкушай!

— Нет, избавь, не могу.

— Ну, через немогу? Ладно, ты возьми стаканчик, только поддержишь. Что тебе станет — поддержишь!

Учитель подержался.

— Налито — простынет. Не задерживай посуду!

Так-таки и выпил. После второго стаканчика учитель съежился:

— Не будет ли?

— Я тебе скажу, когда будет.

Рядом с учителем старичок.

— Ты откулешный? — обращается к учителю.

Старичок поморгал глазами на ответ учителя и сообщает:

— Я в городе тоже был, только не понравилось. Как-то страшно: смотрят на тебя и ничего не говорят! И дети у них не рождаются. Ты мне скажи — к чему это: видел я в поле, бежит заяц с красной головой.

— А ты перед тем не выпил?

— А то вот сижу, распаивается дверь, будто пьяный ввалился, и стоит передо мной человек, голова под матицу, рожа как латунная. Ох, думаю, — угодник...

— Иннокентий своего опять порол — крик на всю улицу, — рассказывает черный мужик.

— Как же, я слышал, — вступается и тут старичок, — еще подумал: какой звук!

Учитель собирается домой, но в него вцепился старичок, распоряжается, как у себя на похоронах:

— На дорожку посошок, по положению!

Жена Андрея — платок немного вбок, глаза расширенные, румянец пылает — жалеет Васина:

— Один ты в чужом селе. Чужая сторона хоть кого состарит. Иди лучше к парням.

Выбрался наконец Васин, но с ним какой-то незнакомый мужик, другого села. Обдавая его горячим дыханием, он много раз его останавливал, беря за полы и ставя против себя:

— Грех от лампы прикуривать, правильно я говорю? Жена, брат, у меня жаркая, как лисья шуба.

Васин ничего не понял, но мужик через минуту опять его остановил.

— Мысли у меня смутницы.

Дико открыл глаза и совсем пьяно, иступленно вскрикивает:

— Я твоего не хочу, а свое не позволю! Имею я право?

— Да к чему ты?

Мужик отпустил его полы, задумался и пьяные слезы залили его лицо:

— Ничего, это я так. А про лесника ты не слушай. Я спьяна.

Пошли молча. Васин немного протрезвел, искоса взглядывается: мужик как мужик, только глаза страшноватые.

— На устрет своей судьбе я пошел, — бормочет мужик, — а жена у меня славная. Тихая, как лампадка перед образом. Д-да... Ну, значит, приезжай к нам

в гости-то. Обязательно приезжай. Поговорим. Баба у меня на сносях. Бить нельзя, грех.

Расставаясь, принялся обнимать Васина:

— Приезжай, учитель.

**
*

Проходя по селу, чувствует особенность этого вечера — везде огни, смех, песни.

В этой избе вечеринка — гармонь, стук каблуков, стонет изба, звон посуды на полке. Поцелуй, девка, и в омут!

Навстречу мужик, ноги заплетаются. Увидев учителя, запевает «Рождество Твое...» и размахивает руками.

Деревня. Еще вспомнится когда-нибудь тяжелый взгляд пожилого мужика, впадины щек, синие рты, запах редьки, лука и ржаного хлеба. Мальчишка в кошачьей шапке, изъеденный плесенью хомут, скелет брошенного амбара.

Лютый мороз, огромные звезды, облитая синим купоросом снежная пелена. На задворках в снежной шапке стоит стог, вокруг сеть заячьих следов, снялась с него белая птица, неотличимая от снега — лунь. Разворошить стог, и чудесно повеет сенной свежестью, напоминая лето. Белый стог, сохранивший под сединой память цветов, жужжанье пчелы, радость солнца.

У дома батюшки толпа мальчишек — заглядывают в ярко-освещенные окна, через раскрытую форточку доносятся громкие голоса. Увидев учителя, ребята окружают его, и Ванька Безлошадный гордо показывает — на палке увитой лентами, большая звезда из серебряной бумаги.

**
*

Когда Васин пришел к себе и лег, стало ему муторно, все закачалось. Мысли смешались, спал тя-

жело, ворочаясь. Проснулся толчком — вскочил, озирается, ничего понять не может, сердце тревожно бьется. С улицы гул толпы, крики. Показалось, что перед окном махнуло что-то красное. Различил отчаянные удары набата: бум, бум, бум-бум-бум.

Вскочил в валенки, накинул тулуп — на крыльцо. За крышами домов зарево. В его свете улицы кажутся провалами, избы низкими, а бегущие люди тенями. Побежал за народом и Васин.

Горит на краю села. Из-за четких крыш видны извивающиеся языки пламени, перемешанные с черным дымом. Промчался верхом на коне становой, нахлестывает лошадь, народ шарахается. Темные окна изб, обращенных к зареву, зловеще отсвечивают красным.

На пожаре большая толпа, Васин с усилием пробрался через нее. Стоят, охают, кричат, ругаются. Пламя взвивается столбом и вдруг осыпалось искрами — рухнуло в огонь новое бревно. На пылающем венце красочная фигура станового — волосы развеваются, в упоении восторга он рубит, схватывает багор и тащит от огня новое бревно. Облака кровавые, толпа черная, окаменелая.

Васину хочется проявить себя, но он не знает, что делать. Поднимается в душе древнее, буйное чувство — рубить, ломать, бежать, кричать. Понятно, почему в восторге какой-то мужик схватил дубину и с аханьем, гиком обрушил ее в окно — стекла взвизгнули, осколки солью взвились, взлетели новые искры пламени, а мужик, ошалев, бежит дальше. Хрипит грудью другой, оттаскивая обгорелое бревно, задыхаясь от черного холодного дыма залитой головешки. Бревно парит и угли трескаются, образуя на дереве черные квадратики. Оттащив, он тылом запястья вытирает потный лоб, глаза горят хищно.

Становой соскочил с избы и обрушился на му-

жиков — они, как звери, кинулись на избу рядом, рушат крышу.

— Погоди, не надо!

— Не надо, родименькие! — вопит на коленях баба, хозяйка избы.

В толпе безумие — один дико кричит, другой скинул тулуп, рвется в огонь, его держат за руки. Подвернись сейчас поджигатель — бросят в огонь и будут дико плясать. Там, на колокольне, тоже кто-то сходит с ума — бум-бум-бум!

Горевшую избу растаскали по бревнышкам. И когда не осталось больше пламени, только шипящие в снегу уголья, да чадный холодный дым — толпа начала приходить в себя. Многими овладело чувство неясного стыда, смущения, другие сразу вспомнили, что они налегке и спешно побрели по домам.

Васин почувствовал себя в толпе неловко и тоже пошел домой.

— Отчего загорелось? — спрашивает попутного мужика.

— Кто его знает. Вино треклятое! Хорошо еще, что только одна изба сгорела.

Перед глазами Васина еще долго проносились красные полотна освещенных заревом облаков, страшный гул набата, летящие бревна в осыпи раскаленных углей, искры — будто кто орехи разбрасывает в золотой фольге.

**
*

Воет метель, ветер прорывается через щели окна и колеблет огонь лампы.

Идет Рождество. Васин прищурился на огонек, представилось ему рождественское: скудно освещенная изба, выструги стропил, на лавке тесно сидят девочки, а на полу кучки овса, под каждую положено кольцо. Чью кучу клюнет петух? Гармонь, пляски...

Васину сейчас радостно, что судьба закинула его в эту глухую деревню. Сумятицы здесь меньше и легче думать о самом важном в жизни. И, пожалуй, настоящее счастье быть другом деревенских ребят — будто пьет из холодного родника.

— Что я хочу тебя спросить, Степан, — обращается он к сторожу, — хочется мне еще хоть одну зиму остаться учителем здесь, да боюсь, как бы Поцелуев не повредил мне.

— А очень просто. Говорю — подластиться надо. Скрипучую дверь маслом заставляют молчать, а не молотком.

— Ах, какое там масло, — махнул рукой Васин, — ведь на все иду, шапку за версту ломаю.

— Это верно. И то уж перемиги пошли.

— Ну так что еще?

— Одно не действует, другое надо попробовать.

— Да убить его, что ли?

Степан поперхнулся чаем:

— Ох, не умори с ужаси! Вон Андрей-возчик тоже убил, думал и концы в воду, а вчера его заарканили — в деревне все скоро узнают.

— Что Андрей, кого убил?! — подскочил Васин.

— А разве ты не слышал? Вчера его скрутили, лесника убил.

— Лесника? — переменился в лице Васин. — Постой, как же так? Да ведь это не Андрей его убил! Не слушая Степана, Васин кинулся к становому.

**
*

— Да не путайтесь вы, батенька, не в свое дело! — говорит Васину становой, — ну что вы можете понимать в мужиках?

Васин делает движение, но становой не дает себя перебить:

— Чтоб мужика понять, надо много соли с ним съесть. Я вот насквозь его вижу. Поверьте, если мужик видит чужого, то начинает ломать дурака. И словечки такие запускает, идиотом притворяется. Пройдоха. Только поддайся на эту удочку...

— Так не поддавайтесь.

— И это им предусмотрено. Тогда у него другая песня, но опять хитрости. Поколениями учился мужик хитрить, его не обойдешь.

— Выходит, что мужик умнее городского?

— Не умнее, а хитрее. Вот хотелось вам сгоряча свою жизнь загубить, пошли в ссылку из-за мужика, а он первый вас предаст.

— Все это какое-то мелкое воззрение на жизнь. Как букашка ползет по ноге человека и делает о нем суждение, не понимая общего. Есть же вопрос народной мудрости, души...

— Душа? — выкатил глаза становой, — ох, не смешите. Душу мужик давно пропил. Кстати, не пропустить ли нам по одной, время как раз подходящее.

Не слушая ответа, становой кричит на кухню.

— Но как же все-таки насчет Андрея, — не унижается Васин, — я даю вам честное слово, что слышал признание от другого человека. И хотя он был в пьяном виде...

— Бросьте. Улики против Андрея убийственны. Он, поди, и сознался уж. Вот слушайте, я расскажу лучше, как меня хотели разыграть в полку, да только и тогда я был не из тех, чтоб провести... Товарищи подослали мне на свидание переодетого барышней юнкера... — и пошел...

**
*

Пенка в клетке и двух дней не живет. Как переносит Андрей тюрьму, привыкнув к ямщицкой воле? Скучает, наверное.

Васин решил пойти к жене Андрея — надо навестить несчастную женщину.

Из-под темного навеса на него загремела цепью собака, веером разбежались куры, клевавшие навоз, из сарая выглянула андреева жена. Увидев Васина, засуетилась, позвала в избу, а сама скрылась.

Васин зашел в избу, присел. Изба грустно напоминала отсутствующего хозяина. На подоконнике лежал моток дратвы, забытый Андреем, висящий на гвозде армяк еще хранил складки, что привычно облегали его тело. Когда вошла хозяйка, Васин растерянно привстал: праздничное платье, волосы прибраны, а на щеках — избави Бог — как будто следы подкраски. Невольно взгляделся в лицо — правильное, худое, и черные глаза блестят, как в горячке.

— Садитесь, Петр Васильевич, гостем будете.

Васина поражает — ни тени горя, озабоченности. Бог с ней, как же так? Об Андрее говорит, отмахиваясь:

— Андрюшка не виноват, я знаю. Посидит да и выйдет. Таковский, ничего с ним не станется.

— Но как же хозяйство, лошади?

— Работника возьму, мы можем.

Васин мало говорит о деле, а про мужика, что ему открылся — ни слова, держится настороже. Когда хозяйка подала на стол бутылку, он решительно встал:

— Тороплюсь, времени нет.

— Нет, Петр Васильевич, не пущу, — ухватила хозяйка за его руку, — у нас гостя так не отпускают.

— Да ведь я не в гости, а по делу.

Только выйдя за ворота, Васин вспомнил, что хозяйка как-то прикасалась к нему, вообще...

— На улице залился на него чей-то пес.

— Ну ты, сука паршивая! — неожиданно для себя закричал зло Васин, замахиваясь палкой.

**
*

На званный вечер к Афанасию Семенычу готовился с утра. Постригся помоложе, гладил брюки. Про себя решил — вечером решится его судьба. Днем заходил несколько раз Степан, лениво поглядывая на Васина. Сообщил новость:

— Андрюшкина жена сделала ему неверность.

— Что ты! С кем?

— С работником. Знаешь, этот, из солдат, усы ухватом.

— А на селе — все пьют?

— Не приведи Господи, как пьют. Это Рождество без убийства нам никак не обойтись.

**
*

У дома Афанасия Семеныча толпа мальчишек: заглядывают в ярко-освещенные окна, оттуда, через раскрытую форточку, доносятся звуки гармонии.

Васин опоздал — сейчас начинается кадрили. Дирижером фельдшер: бабочка из волос на лбу, носится по залу, грациозно переступая ножками, на большом лице как-то со значением собранный ротик в виде наперстка.

— Французская кадрили из русских песен! — возглашает фельдшер и делает знак гармонисту.

Васин прислонился к двери, осматривает гостей. Сияющий становой в мундире. Сердце кольнуло — в паре с ним Маничка. Она смеется. «Врет, наверное, опять что-нибудь» — подумал Васин про станового. Маничка — мечта. В коричневом форменном платье, белая пелеринка, фартучек с кружевами, детские локотки, над розовыми ушками чуть растрепанные во-

лосики. Телеграфист, писарь от станowego, какой-то парень в куртке с зелеными кантами. Маничка заметила Васина и кивнула ему.

Васин стоит с напряженной улыбкой и смотрит на танцы. Чувство какой-то глупой обиды — смотреть на чужое веселье, делая безразличное лицо.

Походкой гиены выходит фельдшер, одну руку поднял вверх:

— Дамы налево, мужчины направо!

Сцепившись под руку, мужская гирлянда проносится мимо Васина в столовую, по дороге его тоже зацепили. Хитрый дирижер сделал правильно: стол облеплен кавалерами, как мухами, один протискивается через другого, едят, пьют, пока не появляется на пороге Маничка:

— Мужчины, как вам не стыдно!

**
*

После кадрили — фанты, но становой положительно завладел Маничкой и оттирает всех. В голове Васина сильно шумело — пил, почти не закусывая.

Но вот ударила полька, и Васин не стерпел. Расталкивая локтями толпу, подошел к Маничке и боясь прикоснуться к ней, начал — раз-два-три, раз-два-три. Он глядит через плечо Манички, изредка бросая взгляд вниз, на изящную туфельку. После танца Васин осмелел:

— Разрешите мне завтра прийти к вам? Мне нужно сказать вам что-то очень, очень важное...

**
*

Тот, что в зеленых кантах, оказался внуком бабки Устиньи. Это он окончил училище в городе. Выпивая с Васиным, значительно сказал:

— Хочу зайти как-нибудь к вам.

— Очень буду рад. Пожалуйста. Я уж слышал о вас.

Потом Васину стало грустно. В фанты он не любил, водка испарилась, а Маничка все время в плену. Выбрал минутку и, не прощаясь, ушел.

Охватила морозная ночь. В голове еще звуки гармонии, перед глазами стол, окруженный пьющими кавалерами, но Маничка вставала как в тумане.

Несмотря на ночь, в селе ревела где-то гармонь. Идти ему мимо церкви, но выбрал ближнюю дорогу — переулком. Оттуда неслись пьяные крики, однако — странно — они смолкли, лишь показался Васин. Прошел мимо избы, около которой толпились какие-то люди, старался не глядеть в эту сторону, боясь спугнуть влюбленных, но подойдя различил пьяный хрип и ругательства. Он уже миновал избу, как услышал топот за собой. Оглянулся — кто-то бежит с жердью. Не успел спросить, как нагонявший ударил его жердью по голове. Васин покачнулся, взмахнул руками, но второй страшный удар — и он, окровавленный, рухнул в снег.

Осталось еще в памяти — режущая острая боль в пальцах левой руки — раздробили.

**
*

Не сговариваясь, один по одному, собрались мужики в волостное правление. Здесь в большой комнате с царским портретом, где обычно решались спорные вопросы или становой пушил за недоимку, расселись по лавкам, кто пристроился на полу. Зачадили махоркой.

— Ну и рожи, прости Господи, — сплюнул старичок, оглядывая сельчан.

Действительно, утром, с похмелья, лица у всех... ну, не стоит говорить.

— На себя посмотри, а еще старый.

— Старому и пить — все равно к концу.

— А что у нас на селе до неповинного убийства дошло, — раздается чей-то голос, — тут ничего удивительного: Божий дар додумались на волчьей ягоде настаивать. Так можно и друг друга перерезать.

— Нет, ничего, я пробовал — крепковато, конечно.

— Про учителиво убийство я так думаю: корысти убить не было, по девкам он не бегал, драки не было — значит злоумышление.

— В драке, конечно, дело святое.

— Может по ошибке? С пьяну-то ведь и не разбираешь.

— За такую ошибку на первой осине повесить.

— Коровье Вымя похвалялся, — вдруг выступил Аким, — перед Николой дело было: пришел ко мне в избу...

— Если он, то не от своего ума. Ясно — поцелуевская наука.

Мужики загалдели, пошла вся подноготная. Шум прервал крик:

— Тише вы — становой идет!

Дверь распахнулась, перед мужиками становой. Мужики остались кто как сидел. Становой, бывало, требовал «уважения», но теперь привык.

— Здравствуйте, мужики.

— Здравствуйте, становой.

Кто-то услужливо подвинулся на лавке, давая место становому, но он прошел к столу и сел прямо на столешницу.

— Пришел, мужички, может знаете, кто это убил учителя? Может подозрения есть или обстоятельства вам лучше известны?

— Это дело начальства, а мы доносить не обучены, — раздались голоса.

— Что же, значит оставить так? Видно учитель плохо вам делал, нехороший был человек?

— Как можно: хороший. И ребята довольны.

— Драки не было, по девкам не ходил — судите сами: здесь причина особая.

Из угла голос:

— А ты бы спросил своего дружка Поцелуева. Может там что отсвечивает?

— Что ты хочешь сказать?

— Да нет, ничего. А только почему бы тебе его не спросить.

— Спрошу и у него. Какой он мне дружок? Я этот след тоже не оставлю. Но вот что я хотел сказать вам...

Становой видимо заволновался, встал со стола, помолчал, обвел глазами мужиков и торжественно продолжал:

— По делу убийства лесника, как вам известно, был арестован ямщик Андрей. В тюрьме он до сих пор не сознался, хотя что-то путает. А был у меня учитель, просил за него. Уверял, что Андрей непричем, а убил лесника кто-то из чужого села и ему, учителю, будто бы сделал признание в пьяном виде. Так вот я думаю, что этот мужик мог убить из страха, что Васин его выдаст. Проболтался спьяна, а потом испугался.

— Когда это тебе учитель говорил?

— Помнится, после Николина дня.

— И не сказал тебе кто? Какой он из себя, этот мужик?

— Ничего не сказал.

Все примолкли. Кто-то робко начал:

— Не иначе это, как...

— Заткни глотку, эй ты! — заревели на него.

В помещение вошел письмоводитель станowego,

зашептал ему что-то на ухо и становой, не прощаясь, выбежал вместе с ним.

**
*

В волостное прибегает жена Прокопа:

— Прокоп, — манит его пальцем, — выйди на минутку, что я тебе скажу.

Вернулся Прокоп в исступлении. Шапку от ярости о земь:

— Бунт, мужики!

— Какой бунт, где?

— В семействах. Мы тут сидим, как дураки, а на селе что делается: становой набрал понятых, сотских, бегают по избам. Арестовал Коровье Вымя, с ним еще троих. Нарочного послал куда-то.

— Ничего не понять. Какой там бунт?

— Русским языком вам говорю: ребята взбунтовались. Пока мы тут сидим, они все разнюхали, разузнали, да к становому. Молоко не обсохло, а самостоятельно выдают становому всех, кто чем грешен!

— Ну, братцы, долго ли до греха — пойдем скорей укоротить их, такое натворят!..

— Батюшки, у меня бревно из казенного леса, неужели и на меня донесут?

— Мой-то совсем шумашедший, — возопил Прокоп, кидаясь к двери, — у меня, братцы...

И понесся Прокоп, отвисшая губа болтается, как варежка.

**
*

Старый, старенький сидит Степан у постели Васина. И сутулый оказался, и очи потухли. Не отрываясь смотрит на Васина. Заставил свет лампы книжкой. Лицо Васина видно лишь от бровей, остальное замотано бинтом. Скоро сутки, как не приходит он в себя. Вчера ночью раздался стук, Степан открыл и на

крыльце залито кровью — чернила, кажется при луне, — неестественно согнувшись лежит учитель. Злодеи подбросили и убежали. Бегал за фельдшером, помогал обмывать кровь, бинтовать.

— Будет жив? — спрашивает Степан.

— Если череп не треснул, то выживет, — говорит пьяненький фельдшер.

Смотрит Степан на лицо Васина не отрываясь. Смотрит, шевеля губами, на глазах появляется туман, он протирает их тыльной стороной руки.

Тишина, прерываемая невнятным бормотанием больного. Степан насторожился:

«Степан», — показалось ему.

Васин потянулся, в горле у него заклокотало. Степан склоняется в испуге, слушает дыхание. Нет, дышит еще. Опять страшное kloкотание, сердце степаново рванулось, затряс белой головой:

— Петр Василич, ясный ты мой...

**
*

Темная бездна затягивает Васина все глубже и глубже. Там покой и величие. Кто-то темный ждет, когда утомленному телу душа шепнет: сдаюсь. Только одно слово — и сердце замрет, кровь свернется, тело начнет каменеть. Сказать это слово?

Но нет — не хочу, не хочу. Борьба продолжается с новой силой.

В голове звенят кузнечики. Тяжело машет крылом против ветра ворона. Деревья сгибаются дугой, небо темнее земли. На железную крышу села тьма птиц — стучат ножками и клювами. Черный лист на дереве дрожит, осыпанный брызгами. Васин загляделся на деревья — листья у них черные с одной стороны и серебристо-блестящие с другой. Странно, что сейчас луна. Васин видел эту игру листьев где-то

днем, у пруда. Или это солнце так же играло бликами на воде?

**
*

Васин второй день в сознании, но неразговорчив — что-то обдумывает. Почувствовал скуку — и обрадовался, выздоравливает. Рука только не дает покою: мизинец перебит и мозжит.

Пришел становой. С ним здоровье, жизнерадостность и простой взгляд на вещи.

— Вот, Васин, пришел официальное дознание снять.

Васин насторожился. Собрал в комок все, что думал эти два дня, и поставив голос, как ему казалось, на самую искреннюю точку, важно произнес:

— Что ж, придется сделать вам одно признание, становой. Я принадлежал к одной тайной политической организации, но ушел от них...

— Васин милый, но я ведь не такой уж дурак, как вам кажется. Скорей послушал бы вас, если что про любовь.

— Ну да, здесь есть и любовь, — оживился Васин. — Я отбил жену у одного из членов организации...

— Ну, ладно, ладно, дорогой. Действительно, следы порока и разврата заметны на вашем лице. Только вот что — тяпнул вас Коровье Вымя со товарищи. Да они уж и сознались.

Не слушая больше Васина, становой спрятал свои бумаги в портфель.

— Вот кстати, о разврате. У нас в полку...

Дальше сплошное веселье. Что говорит становой, разобрать трудно, но захлебывание, слезы из глаз, дрыгает ногами — глядя на него, Васин смеется, как ребенок.

— А все-таки, становой, надо вызволить Коро-

вые Вымя. Погибнет человек, — просит на прощание Васин.

**

Допустили к Васину наконец и ребят. Они явились гурьбой, в полушубках, шарфах, некоторые под шапкой повязаны платком. Поднялась суматоха, шум, возня.

— Ну, скажите, разбойники, — перебивает ребят Васин, — это вы Коровье Вымя подвели?

— Как «подвели»? Он ведь тебя ударил.

— А вам-то какое дело?

Ребята переглядываются, но молчат.

— К становому-то, главное, зачем пошли?

Ответа нет. Из кучи чей-то голос:

— Поцелуева спалить порешили!

— Что?! — приподнялся на локте Васин. — Что вы надумали? — зашипел он на них.

Пусто стало, когда ребята ушли, будто взяли свет и унесли в другую комнату — там, может быть, разговаривают, поют, а его оставили одного.

Вспомнилась и черная пропасть глаз Поцелуева. Непокойно, поди, купцу. Нет худа без добра — теперь Васину с ним будет легче.

**

— Можно к вам? — растворяется дверь, на пороге Андрей, устин внук.

Андрей понравился Васину еще тогда, на вечере Афанасия Семеныча: круглое простое лицо, прямой ясный взгляд, добрая улыбка. Как его ни одень, всегда скажешь: крестьянин.

Андрей рассказывает о сельскохозяйственной школе, о товарищах, потянувшихся к городской жизни.

— Мне понравилось, — улыбается Андрей, — что вы решили в деревне остаться.

— Да. И вы вот тоже домой вернулись. Что вы будете делать?

— Не знаю еще. Пока с бабкой ссорюсь. Но не думаю, что раскаюсь. Мужики скоро поймут — буду вроде маленького агронома без чина и жалования.

Андрей выкладывает свои планы: хорошо бы, например, рамчатые ульи получить, завести показательный пчельник.

— А я у вас летом буду помощником, — обрадовался Васин.

Только как получить ульи без денег? Решили написать в андрееву школу, попросить займы под жалование Васина и будущую добычу. Школа, конечно, посодействует.

Долго разговаривали новые друзья.

Когда Андрей ушел, Васин решает в первый раз попытаться встать. Натянул одной рукой костюм, поднялся — и вдруг все кругом поплыло, стены закачались, едва успел ухватиться за спинку кровати. Лег, и представляется ему — лежит у шалаша на па-секе, запах меда, жужжание пчел, тишина, благодать и спокойная ясность...

— Теперь не буду в селе чужим, болтаться на волне, как арбузная корка у пристани.

**
*

В Крещение Васин не утерпел — водосвятие, Иордань — пошел в церковь, хотя сломанный палец и чувствителен к морозу — мозжит.

На паперти с непокрытыми головами стоят мужики и каждый держит в руках кувшин или бутылку. Черным полотном тянулось шествие к реке. По лицам видно, мужики придают этому празднику свой смысл — перелом.

Около проруби, где село берет воду, вырублен во льду крест, обставлен елками.

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи», «Днесь вод освящается естество и разделяется Иордан» — несетя по морозному воздуху.

Мужики и бабы черпают освященную воду кружками, тут же пьют мелкими глотками, протискиваются с бутылками — запас святой воды против нечистого и болезней. Сейчас заторопятся домой, вспрыснуть крещенской водой заболевшую скотину.

— Эй, бабы, отвернись, сейчас грехи смывать буду! — проталкивается сквозь толпу коротышка-мужик, закутанный в тулуп.

— Ты же не был ряженым?

— Шубу, православные, выворачивал, нечистого тешил!

— Выпить ему хочется, больше ничего.

Мужиченко уж у края проруби, пошевелил плечами и тулуп с него спал, стоит голый.

— Держи!

Мужики к нему — подхватить под руки, раскачать и окунуть, как вдруг он присел и стремглав назад:

— Раздумал, братцы! Грех-то мой маленький, и так сойдет.

— Эх ты, — жужелица!

**

Поцелуев стоит на крыльце. Увидев проходящего мимо Васина — идет с Иордани — кричит:

— Петр Василич, ко мне милости просим!

Васин поднимается на крыльцо, но Поцелуев раскинул руки:

— Нет, почетный гость — через ворота.

Васин вспомнил — особо почетных гостей пропускают не через калитку, а через распахнутые настезь ворота.

— За что такая милость, попечитель?

— Пострадавшему от темноты народной, от слепой злобы.

— Ну, что вы! Просто — от пьянства и даже не от водки, а волчьей ягоды.

— Правильно. И незлобие ваше похвально: если подуешь на искру, она возгорится, а плюнешь — погаснет.

Пригласил к столу. Из сеней выглянул Санька, мигнул учителю. Наливая рюмку, Поцелуев говорит:

— Вот школой хочу заняться с вашей помощью. Истинно великое дело вы делаете. Большое дело — учитель. А вы, видно, и любите это дело и с большим умом поступаете.

— Ну, что вы, — смутился Васин, — я человек маленький.

— Мала пчела, а плод ее сладок.

**

Степан дует на блюдечко, держа его снизу на вытянутых пальцах.

— В Библии читал: «И обратила взоры на Иосифа жена господина и сказала: спи со мной». Вот какая мадам — прямая.

Васин оторвался от книжки, смотрит на Степана.

— «Схватила его одежду и сказала: ложись со мною. Он оставил одежду свою в руках ее...» Невиданное дело.

— И чего ты распотешился, гляжу на тебя?

— Андрей-то возчик, что это к тебе не идет?

— Чего ему идти ко мне? Только из тюрьмы вышел, дела поди запущены, не до того.

— Напраслина, что уголь — не обожжет, так запачкает.

— Да к чему это ты мудрый какой-то — притчами говоришь?

— Мужик в своем доме, известно, — лев. При-

шел Андрей и давай душу трясти из бабы. И работника прогнал.

— Ну?

— Андрюшка дурак, а тут совсем крутой дурак. Баба-то извернулась, да на тебя всю злость и направила. Так-то, Петр Василич.

Васину не до смеха — у него на селе новый враг.

— Что же мне делать, Степан? Как я могу оправдаться перед Андреем?

— Наблюдай время, да на глаза не попадайся — больше ничего не поделаешь. И все эта лахудра проклятая.

У Васина поднимается волна бессильной злобы и возмущения. Обрадовался неожиданному приходу Семена-инвалида, с которым возил когда-то дрова.

— Здравствуй, Петр Василич, я по делу к тебе.

Дело касается пчельника. Уже прослышали все, что устин Андрей да учитель выписали какие-то особенные ульи, будут устраивать пасеку. Даже Поцелуев заинтересовался — дает гречиху для посадки, надеется заработать на этом. А Семен пришел проситься в помощники. Васин оживился, принялись обсуждать предстоящие работы.

Уже в постели обдумывает Васин все эти разговоры и снова надеется, что пасека сроднит его с деревней. Несется на него запах с розового поля цветущей гречихи, летит пчела, задержалась в воздухе, опускается и замолкает в цветке.

**
*

Васин приподнял голову: в сенях кто-то возится, нащупывая дверь. Только хотел встать, дверь распахнулась и перед ним возчик Андрей. Шапка надета чортом, лицо искаженное, зубы ощерены, в глазах, помутневших от беспросыпного пьянства, острая ненависть.

Стоит у дверей и с мрачной усмешкой молча наблюдает Васина. Тот тоже застыл.

— Свиделись, учитель, а поговорить-то и не о чем!

Не отрывая горящего взгляда от Васина, Андрей делает к нему шаг:

— Что ж, рассчитаемся!..

— Ты что тут, дурной, озоруюшь, — сразу раздаётся за спиной Андрея голос Степана.

— Ну, не сегодня так завтра — от меня не уйдешь! — бросил Андрей и грубо толкнув в грудь Степана, побежал к выходу.

Захлопнулась дверь, слышен стук по ступенькам крыльца.



Дни прибавились — на дворе шестой, а светло, как днем. Санька Поцелуев оглянулся воровато кругом и шмыгнул на крыльцо школы. Тихонько приотворил дверь и заглянул в сенцы — там, в темном углу возится кто-то. Хотел уж повернуть, как из угла шопоток:

— Санька, это ты?

Подошел к кадке, там возится Петька:

— Люблю ковырять в золе — всегда что-нибудь найдешь. Давеча кость попалась — ей-Богу, человечья.

— Ври «человечья». Откуда?

— Может и баранья, только обгорела чудно. Помнишь, на погосте мы кость нашли — точь-в-точь!

Громко шмыгая носом появился откуда-то Цыган.

— Третьевась Андрюшка приходил убить Петра Василича, — говорит Петька.

— Больше не придет, — усмехается Цыган.

— Ты его заморозил?

— Ничего не заворожил. Очень надо на такого силу тратить. Мы с Ванькой пошли и рассказали ему про работника-солдата, что с его женой жил.

— Неужто?

Цыган рассказывает, как они караулили Андрея, пока появится на дворе. Заходить к нему в избу страшно — пьяный и ножи точит. Прячась за тын, окликнули.

— Тут мы ему сейчас про работника.

— Что же он?

— Клятву взял. Я поклялся проклятием матери, благословением отца, своими глазами и всем добром, — что все истинная правда.

— Поверил?

— Сначала сомневался, смотрел страшными глазами. Как у волка глаза-то.

— А если бы он через тын перескочил?

— Будь, что будет. Стоит, на голову ему снег падает, а не тнет — сделался Андрей, как мертвяк.

— Что ж он вам сказал?

— Ничего не сказал. Повернулся, икает и плечи трясутся. Ушел в избу и дверь не прикрыл.

— Убьет он вас теперь.

**
*

Зашел в школу Семен-инвалид.

— Слышали, Андрюшка с собой порешил?

— Андрей-возчик?

— Он самый. Смотрят, у него дверь в избу открыта, зашли, а он висит на вожжах.

БАТЮШКА

Вечер, Васин просматривает тетрадки учеников. В сенях, слышит, кто-то возится. Подошел и отворяя, задел дверью отца Алексея.

— Отец Алексей, пожалуйста!

— Ну как, справляетесь? Не тяжело вам, не бросите нас?

— Нет, батюшка, сбрендить не хочу.

Отец Алексей задумался, молчит. Замолчал и учитель. Сидят друг против друга в сумерках пустынного класса.

— Отец Алексей, — решается наконец учитель, — вы меня простите, не примите за дерзость. Я, наоборот, от всей души... Батюшка, неужели нельзя как-нибудь не пить, остановиться!

Голова батюшки опустилась. Губы его с усилием разжимаются:

— Пробовал... слаб я... матушку жалко...

Васин еще говорит что-то, отец Алексей уныло молчит. И когда заговорил — опять про матушку:

— Зайдите к нам, познакомитесь. Ведь она совсем молоденькая. Такая у меня хорошая матушка. Жа-а-лко...

Васин невольно отвернулся: отец Алексей вытаскивал платок и утирает слезы. Успокоившись, вдруг начинает:

— Есть Бог! Только разум смущает нас. Религия, однако, не для разума, а для сердца. Она суть доброта и сердечность.

И сразу заторопился:

— Ну, я пойду уж, матушка ждет. Вы меня доведите, пожалуйста, до дороги, — совсем перестаю видеть.

**
*

Дня через три Васин собрался к священнику. Стучался долго, пока отворили. В темноте показалось, перед ним девочка — подросток.

— Дома отец Алексей?

— Да... нет...

— Я учитель.

Когда вошел в дом, поразился бедности и убожеству. При свете скудной лампочки разглядел матушку — действительно, очень молодая. Огромные глаза, детский рот, бледность точеных рук. Закутанная в черный платок, она как восковая свечка, монастырка.

— Батюшка нездоров, они не могут выйти.

Васин рассказывает о занятиях в школе и уж хотел уходить, как матушка сказала:

— Отец Алексей хорошо о вас говорил.

И тут Васин неожиданно для себя, начал о болезни батюшки. Его горячность тронула:

— У бурят, говорят, есть монастыри, где лечат, — вздохнула матушка, — только это ведь далеко и невозможно для нас. Все из-за меня — добавила она шопотом, теребя бахромку платка.

— Бог с вами — почему из-за вас?

— Он такой человек, ему надо было в монахи идти, в миру он погибнет. Но он так меня любил, что принял священство. Я его тоже очень люблю.

— Может быть у него было какое-нибудь душевное потрясение?

— Нет. Но он верит в Бога не просто, а горит этим.

— Почему же пить тогда? Это же грех.

— Грех, конечно. Только его мучают сомнения, не может перенести их.

— Сомнения в Бога?

Матушка отшатнулась, глядит на учителя:

— Нет, нет, — заторопилась она, — его неправда мучает! Говорит, что священники первые ответчики перед Богом. Бог один, а религий много. Смирения ни у кого нет. Это ведь правда.

На прощание учитель говорит:

— Трудно вам приходится, матушка?

— Как трудно? Нет, ведь я его люблю.

Эти последние слова и звучали в ушах учителя, когда он шел обратно.

Что такое настоящая любовь? Любовь всех Матнон, Кармен? Или любовь этой молоденькой матушки?

Любовь, — читал он где-то, — непрерывная тревога за любимого. День и ночь, неустанно, несмотря ни на что.

Посмотрел на небо. Зажглась ярким светом заблудившаяся звезда. Луна плывет, не отставая. Полоски светящихся облаков. Яркий узор на темном небе — земля не одинока. Не первая и не последняя.

**

Сторож Степан уж засветил огонь, а учителя все нет. При свете восьмилинейной лампочки стены школы мрачны, безнадежны, унылы. На столе поблескивает своими латами самовар, вместо утерянной шашечки на крышке его приспособлена катушка от ниток. Степан сидит над остывшей чашкой чая и вздыхает — в селе страшное дело: ямщик Андрей покончил с собой. Похоронили за оградой кладбища, без отпевания.

В сенях стук, но вместо учителя появляется батюшка.

— Нет нашего учителя?

— Садитесь, отец Алексей, сейчас он должен прийти. Не угодно ли чайку?

— Нет, спасибо. А вот рюмочку, если бы нашел...

— Не держим, батюшка. Учитель-то у нас хотя сам и выпивает, а дома запретил держать.

Батюшка вздыхает, положил локти на стол, в руки уперся головой и видно, забылся, что-то обдумывает.

— Грех-то какой. Опять на нас, на священстве. Запрещено молиться за руки на себя положивших. Вот и Андрей ушел без молитвы. А ведь чем тяжче грех, тем больше молиться надо. За убийцу у нас можно молиться, а за самоубийцу нельзя.

— Греха-то больше, батюшка, другого убить, чем себя.

— Что ты, Степан, как можно! Смерть, для чего она дана? При грозном явлении ее обнажается суета земная, стихают плотские страсти, смиряется непокорный разум, открывается правда вечная...

Батюшка прикрыл ладонью глаза, еще ниже склонил голову.

— Правда вечная... Праздник юности увядает, гаснет светильник радования, грядет старость, умирают друзья. Где вы, некогда радостные? Безмолвны их гробы...

Прислушиваясь к окружающей тишине, отец Алексей вдруг страдальчески вскидывает руки и шепчет в темноту:

— Вознесем же молитву и за тех, кто погубил себя в омрачении ума, без покаяния. Господи, за молитву безвинных страдальцев, за кровь мучеников — пощади и помилуй их. О, дивная сила молитв христианских! Дай мне, Господи, дар пламенной молитвы и за тех, кто совершил самый тяжелый грех — сам ушел из жизни. За их скорбную кончину я молюсь,

как и за тех, кои в светлой юности взяты могилою, кои несли терновый венец страданий, кои не видели земного счастья, были измучены бурями житейскими. Молюсь за безродных, за коих некому молиться, молюсь за отверженных...

Степан стоит окаменев, прижал руки к груди, белая голова склонилась. Как на молитве стоит он.

— Аки последнее средство для вразумления, Ты, Господи, даровал смерть. Господи, Ты озаряешь солнцем, услаждаешь плодами, веселишь красотою мира — да не истощится милосердие Твое к усопшему грешнику, рабу Твоему Андрею. Пресвятая Богородица, умилостави, умоли Христа Бога, да дарует отпущение греха ему! Да будет благая воля Твоя...

В школе становится, как в часовне. Слепые, неразумные люди, вы говорили: комната эта уныла, мрачна и безнадежна.

БЫВАЛО НА МАСЛЕНОЙ...

В сибирской деревне вся масленая на улице — обязательно катанье.

Пьяно в меру веселья.

Похорошевшие на морозе, в нарядных полушубках, подбитых ватой юбках, сама удадь и здоровье, улыбка — полумесяц на ясном небе, девки звонкими криками заполняют улицу.

— Эй, Ванька, не ершись! — огрела вожжами зазевавшегося парня.

Тот нахлестывает коня, но поздно — ковровые розвальни пронесли мимо, засекли путь.

— Не хвались, девонька! — на повороте кричит парень, поравнявшись с обидчицей. Но розвальни сцепились, не разъехаться. Парень бросает вожжи, перекидывается к девке:

— Давай выкуп!

— Поди ты, медведь! — удар в грудь, и парень опрокидывается.

Минута, и в снегу барахтаются двое, норовя засунуть снег за шиворот. Наезжают другие ковровые, дорога застопорена, один за другим насакаивают, и —

— Куча мала! — несется на все село.

Разбирая в руках связку зеленых и красных вожжей, дуга в бумажных цветах, сбруя в лентах, вылетает в санях сын старосты.

На древнем одре плетется старый дед, делая удалое лицо, катает внука:

— Ить! Сиди прямо.

Выехал за околицу—снежное сияние, глаза слепит. Деду не нравится — тщеславие — заворачивает в село:

— Поедем лучше на видно.

За углом толпа парней, лихо рвет тальянка, снег утопан, — как на току, парень согнулся, метет на ходу шапкой.

— И-и-их! — слышится на всю улицу топоток подшитых кожей валенок.

— Пусти меня! — рвется в круг бородач.

В избах чадно, накурено, соседи у соседей едят блины.

— Как много сказано, так и будет! — кричит хозяин, требуя еще водки на стол.

— Да блины-то ешьте, милые! Кадушка опары, куда же я дем? Вот горячие.

— Масленица едет! — вскакивает в дверь Ванька.

Опрокидываются впопыхах лавки, все бегом на улицу. Народу полно — едет масленица. Какая-то она этот год?

На дровнях поставлена пирамида, высотой с колокольню. На верхушке парень с гармошкой, лицо в саже, кривляется и кричит что-то. Такие же измазанные сажей идут вокруг масленицы в вывернутых шубах, на загривке у каждого испуганный маленький медвежонок, поводит белками глаз на толпу, лапой обнял голову парня. Сзади едва поспевают старый дед в обнимку с огромной медведицей. Зверюга в лоск пьяный, идет на задних лапах, спотыкаясь, размахивая пустой бутылкой.

— И не поймешь, чьего бога эти черти, — смеется мужик.

Отовсюду летит мелкота, боятся пропустить: Ваньки, Петьки, Саньки. В рваных полушубках, платках, шапках не по голове, в стоптанных валенках, отцовских варежках.

— Масленица едет! — восторженно визжат.

В тяжелом сне спит объевшееся блинами село. В одном окошке зажигается тусклый свет.

— Ну, чего ты тут стонешь? — спрашивает испуганная баба.

— Смертынька моя и до прощенного дня не дожил.

— Меры не знаешь — куда столько влезло.

— Ой, живот!

— К Устинье, что-ли, сходить за травкой?

— Кваску дай.

Баба кричит:

— Ленька, полно дрыхнуть, отцу плохо! Сбегай в погреб за квасом.

С палатей свешиваются голые ноги. Заспанный мальчишка спрыгивает и ворча уходит со жбаном в погреб.

— Отлегло? — через полчаса спрашивает баба.

— В животе ужаси.

— Вот тебе и «ха-ха-ха, не боюсь греха». Дурак старый.

— Дураки — народ веселый. Да и дурости тут нет — отцы еще больше ели.

— Вот Ленька завтра учителю расскажет, как отец облопался.

— Учитель ваш! Что-то он из песка веревки вьет. Сказывают, хочет урожай сам двадцать делать. С ума спятил.

— С ума спятил, да на разум набрел. Спи, что-ли.

— Ах-ха-ха! — захлопал где-то петух и голосом Петрушки из балагана нагло резнул тишину: кука-реку.

Славные, но лукавые боги глядят на затерявшееся в снегах село. Мороз накинул на лес серебряную кисею в блестках, ее прорывают воздетые, как скручен-

ные руки, оголенные ветви деревьев. А над кустами плывет морозное облачко.

**
*

Из-за перегородки слышится голос Степана — говееет эту неделю и часами сидит за Библией.

Под его бормотание обдумывает Васин, что ответить своему другу. Изнывает друг Чередин в городе, просится на лето к Васину — готов жить с ним в шалаше на пасеке. Васин бы непрочь, но — Степан? Вчера заговорил с ним, а он делает порожные глаза:

— Твое дело, мне-то что. Зови хоть всех ссыльных.

Свертывая на коленях цыгарку, не поднимая головы, Степан говорит:

— Ты лучше станowego спроси. Может нет такого положения, ссыльному без должности в деревне жить. У тебя самого такое дело, что гляди в оба, а зри в три.

Но вот именно из-за станowego Васин и напишет: приезжай.

Вспоминает, какой был Чередин, когда они ставались: подвижные губы, темное лицо, веселые глаза. А уж философ — не приведи Господи. Вспомнил, какой Чередин, и заскучал: «Непременно приезжай», — закончил Васин письмо.

**
*

Приближается Пасха, воскресает жизнь. Васина тоже захватила начавшаяся в деревне весенняя лихорадка. Хочется работать, двигаться. То он ездит с Семеном за деревню, разбрасывать наваленный кучами на снегу навоз, то вместе с Андреем раскапывает снег над озимыми — смотрят не сопрели ли. Иногда забьется страстное сердце охотника — пойти бы с ружьем на всю неделю в лес. Но нет, ему нельзя. Де-

ревня незаметно забрала его целиком. Не только школа, но и Андрей, мужики, их заботы и радости.

Деревня, мужики, поля, лес и где-то вдали кажущийся зловещим — город.

**
*

Перед пасхальной заутреней Васин немного проспал. Вышел на крыльцо — свет украшенной огнями церкви. Под звон колоколов сердце его дрогнуло: красота этого утра пронзает его каждый год с детства. «Христос воскрес» — раздается сейчас там, куда он спешит быстрыми шагами.

Спины мужиков, баб — в церковь не попасть. Ряд слабых огоньков — куличи для освящения. Из церкви вынеслось и пошло по воздуху:

— Ангели поют на небесах...

Возвращался домой — разговляться — радостный. Казалось не облака на рассветном небе, а белопенные лебеди плывут. Подумал, что с Пасхой кончился первый срок его деревенской жизни. Его, как зерно, будто закопали в темную сырую землю, оторвав от света города, и вот он, в этот торжественный час, почувствовал: зерно набрало несметную силу, дрогнуло и зеленым огоньком выкинулся первый росток — слабый, но уже навсегда покоренный солнцем и молчанием земли.

НА ПАСЕКЕ

В лесу, на большой поляне, обработанной под гречиху, вблизи трех шалашей, горит костер. Спускается вечер. Костер освещает лицо Васина снизу. Он весь ссохся от работы и почернел. Рядом Чередин — приехал-таки — уселся, как баба на телеге, прямо вытянув ноги. В руках у него палка, тычет ею в костер.

— Вот здесь, на лоне природы, узнаешь, что жизнь действительно хороша. Только много вы работаете.

— Несчастье, — улыбается Васин, — что все здесь к спеху и ничего нельзя пропустить — на все сроки.

— Как ты скоро втянулся в деревню! На тебе даже какой-то отпечаток уж есть. Поди, и не читаешь ничего?

Васин сконфуженно улыбнулся:

— Ничего. Голова занята не тем. Книги кажутся фальшивыми.

— Смотри, брат, живо опустишься!

Подходит с ведром Степан. Налил воды в котелок, повесил над огнем и молча садится на корточках, охватив колени. Потревоженный костер стреляет быстрыми искрами. Потянул ветерок, раздувает костер, лица освещаются вспышками.

Едят из котелка картошку, обжигая пальцы, присыпая ее до горькости солью. Необыкновенная картошка. Степан разжигает самовар.

— Канфорку не то потерял, не то в школе забыл — наказание!

Погодя добавляет:

— Сказки у костра хорошо слушать.

Около Степана деревянные ложки, каждая на стебле отмечена особым крестиком. Собирались есть уху, да ребята рыбы не принесли. Пьют чай.

**
*

Здесь в селе Васин полюбил сказку. Полутемная изба, на бревенчатой стене скачущая тень рассказчика, мохнатые мужики, детские глаза на бородатом лице, и биение небольшого сердца, такого большого, что в нем утонули кучи обид, несправедливостей — следа нет.

«Кони сомлели, идут шагом, — сочиняет Егор, — сижу я на облучке, играю кнутиком под хвостом пристяжной. И выходит тут... — Егор обводит всех глазами, — выходит тут из куста Поколен-борода. Хвать меня за руку, как сжал пятерню — пальцы склеились. Ощерился, показал клыки... А тут старичок. Смотрю — глаза у него заячьи. Присмотрелся. «Да ты, — говорю, — не дед ли Петруня?» Старичок тут — пожилой человек, а покраснел, как дитя, — «потом, говорит, я скажу, как это было». Ну, вижу, что-то здесь затевается. Подобрал я вожжи, только хотел огреть старичка, да гикнуть — а смотрю...»

Часами так сиживал он, не проронив ни слова, слушая рассказы. Как ярко, какими словами, как ловко и хитро. И обязательно дурака приплести, в нем вся соль — оборачивалось, что и сердце у дурака лучше и догадки на пятерых. И тонкие расплывчатые рисунки нездешнего мира, невиданные существа, чертоги райские, звери, вещи, люди — все заодно, все в общей игре и говорят между собой...

— Хотел бы я верить, как ты, Степан, как Петь-

ка, как все вы. Весь в огнях засиял бы мир передо мной. Не радугой, а чертогом из камней самоцветных.



Три шалаша на полянке. Один — пасечный. Там два пустых улья, где временно вложены рамки с вощиной и какой-то «пергой», непонятной для Васина. Дымарь, сетки для лица, щетки, стамески, шило, ножи. В углу сумка Андрея. Он здесь спит, когда остается на ночь.

Второй шалаш — степанов. Там самовар, котелки, мешок с крупой, соль, сахар, у потолка висят связанные пучками травы.

В третьем — Васин и Чередин. Этот самый роскошный. С ребяческой старательностью Степан сам обтесывал жерди сухого подседа и требовал от Семена — он главный плотник — чтоб потолок был «заподлицо». Стены оплетены корзиночной вязью и вырублено оконце.

Васин медленно раздевается, готовясь ко сну. Чередин задержался — бродит при луне по лесу или идет на речку. Приехал он сюда задорный, речистый и вдруг стих.

Натруженные за день руки и ноги Васина сладко ноют. Подумать — своротили они гору: поляну надо было расчистить от молодой поросли, вспахать, боронить, построить шалаши, устраивать точок для пчел — огораживать, вбивать колья для ульев и весь точок вычистить под веник — ни одной веточки или лишней травки.

Васин закрыл глаза и сладко потянулся. Хотелось по-ребячески сочинять молитву: «спасибо, Господи, что Ты меня создал. Спасибо Тебе за всё, но я боюсь, что мало мне будет одной жизни. Мне совсем не надо столько мяса, костей — сделай меня для вто-

рой жизни хоть птицей или букашкой. Спасибо, Го...»
— Васин не кончил, сон не захотел его дожидаться.

**
*

В шалаше просыпаются враз: открыл глаза, потянул носом и без полусна, вялости и тупых глаз — здесь он, в удесyтеренной радости жизни. Васин быстро оделся, вышел из шалаша. Еще темно, но Степан, сидя на корточках, уж раздувает костер.

Звезд нет, сосны плывут в тумане, все кругом молчит, как бы вбирая в себя редкий воздух перед тем, как крикнуть. В этом воздухе даже костер загорается по особому: молодое пламя жадно бросается с ветки на ветку.

Лицо Степана у костра кажется медным, тени от бровей заплзли на лоб. Режет каравай хлеба, уперши его в грудь. В золе пекутся яйца. Прилаживает у костра рогульку, на нее он положит прут и повесит котелок с картошкой.

«В городе сейчас спят непробудным сном на мягких перинах», — подумал Васин, раздувая сапогом самовар.

Утро очистило полянку, туман загнан в лес, становится светло.

— Пойду Чередина будит, — поднимается Васин.

— Да пусть спит.

— Накося! Спать он сюда приехал?

Через минуту визг на поляне: Васин тащит за ноги Чередина. Тот дрыгает ногами, цепляется за траву. Чередин встает, когда раздался невероятный гам птиц — солнце взошло.

**
*

В предрассветных сумерках пробирается Васин по лесу с пасеки в Малиновское. Надо зайти в шко-

лу и на почту. Нет у Васина уверенности, что экзамены прошли благополучно. Приезжал этот господин из города, но, кажется, — не смотреть за порядком, а искать беспорядка. Главное для него — почему Васин не говел. Верно, надо бы ответить учителю, да как-то не подумал. Будь что будет.

Посмотрел на лужицы около болота — там уж начинается утро. Вокруг — как вечная ночь на северном полюсе: полумрак, полусвет. Кто-то нежный прощается с лесом: шелест листьев, макушки чуть качаются. Вон полусонный дятел сидит в своей черной шапочке. Цветы утром — аромат на всю поляну, а посмотреть — всего только простой саран раскинул свои замысловатые цветки.

**
*

Усталый, руки и ноги будто их выдергивали и вставили как-то не на место, пришел Васин на почту, здороваясь со встречными мужиками.

На почте все тот же Афанасий Семеныч. Хотя Васин умылся, причесался, соскреб грязь с коленок, но вид у него такой, что Афанасий Семеныч не сразу признал и только было раскрыл рот для обычного «присутствие закрыто», как расплылся в улыбке:

— Петр Василич. И не узнать — сгорел.

Вручил Васину большой пакет с газетами. Васин удивился, даже адрес проверил — ему. «Голос Отечества» — почему они ему посылают?

— Да что это, Петр Василич, вы себя портите? Зачем вам без необходимости утруждать себя в работе? Вы бы на рыбалку или охоту — милое дело.

Узнал, что Маничка приезжает — сердце дрогнуло. Чай пить не остался. Зашел в школу. Там его сундучок, тетрадки, книги, степанова Библия и военный мундир — все родное, знакомое. Попробовал

злосчастный электрический звонок — трещит еще. Пустота, паутина — грусть покинутого жилья.

В лесу опять — парной воздух, струйки хвойного аромата, тишина. Васин присел и чуть не заснул — охватила жаркая истома, руки-ноги блаженно раскинулись.



На точке пчелиная суетня около ульев, застывший в воздухе солнечный зной. Васин сидит у бочки с водой — поилка для пчел — и загляделся, как капли падают на лоток: в ослепительном сверкании, будто каждая вспышка отрывает кусочек солнца. Суетятся пчелы, напьются и в улей: разбавляют мед, чтоб кормить личинок.

Сквозь деревья мелькнула фигура Чередина — тащит хворост к костру. Окликнул его:

— Чередин, ты ведь следишь за прогрессом, а я вчера газеты получил.

— Ну! Какие?

— «Голос Отечества». Не знаю, с чего это они мне послали.

Чередин смеется:

— Это для меня. Я им дал твой адрес перед отъездом сюда.

— Ты, светлая культурная личность — тратишь последние деньги на выписку газет.

— Насмешник. Я получаю бесплатно. Напишешь им корреспонденцию и полгода обеспечено.

— Напиши им, что вот живут на пасеке Васин и Степан, потерянные для прогресса личности.

— Кроме шуток, надо написать что-нибудь. Ну да я уж придумаю.

— А может лучше ничего не писать. А то привлекать внимание, а мы тут ссыльные.

— Думать надо об общей пользе, а не о нас, — изрекает Чередин.

НА МЕЛЬНИЦЕ

Тихо плещется вода у берега, колышется осока, желтеют мелкие лютики, крупная купальница, гусиная лапка. Желтые цветы любят берега. Мельник кидает удочку в лодку, гремит веслами и оттолкнулся от берега. За кормой на воде вырастают прозрачные усы, делаясь все шире, и пропадают. Зашуршала галька, мельник соскочил и отойдя немного, закинул удочку под ивой.

Клева в эту пору нет, но мельник будет сидеть, пока не закричат с того берега:

— Пускай постав, мельник.

...Это не лист, оторвавшийся от ивы, качается на волне. Это душа мельника: вверх-вниз, вверх-вниз — так же, точь в точь так же. Волна поднялась, блеснула, как мутные серебряные серьги, и загасла. Все говорит — нет ни тревоги, ни забот, ни зла, ни добра. И нет, не может быть, ума выше того, что говорит эта благодать. Сиди, мельник, и упивайся — завтра этого может не быть. Твое счастье, мельник, самое верное...

— Что же ты, окаянный, не слышишь, что ли?

— Ишь, разобрало вас там.

С грохотом летят весла в лодку.

**
*

Андрей отошел в сторону, выкупался. Выскочил из воды, встряхнулся по собачьи, и на мокрое тело натягивает рубаху. Прилег отдохнуть. Зажмурился и

слушает, как ходко стучит локомотив — его в мечтах он уже купил — двигая локотками, выкидывает синие колечки дыма, пыль от молотилки к небу.

**
*

Дальний мужик и Аким добыли в жилье у мельника карты, сидят под телегой, перед ними разостлан армяк. Аким сдает. Поплевывает на пальцы, с трудом отдирая одну карту от другой.

— Против головни семена надо в формалине вымочить.

— Придумаешь тоже. А где его — как бишь — достать?

Аким толстыми пальцами неловко соскребывает карты с армяка.

**
*

У ребят — играют на крыльце мельницы в поддавки — другой разговор:

— Что ты врешь, где ты видел осла?

— Вот видел, с места не сойти — настоящий, живой.

— Какой он?

— Ну, какой — осел как осел. Только уши длинные и копытца крутые.

— А хвост есть?

— Как же без хвоста.

— Вот и попался! Хвоста у них нет.

Завязался спор. Бывалый мальчишка не уступает. Мало того — на ярмарке показывали ветку с палестинской пальмы.

— Ну зачем ты врешь?

— С места не сойти — видел! Большая, как из жести сделана.

— А я, ребята, — вдохновился другой, — раз ночью здесь на мельнице был. И вот...

Шашки в сторону, ребята заглядывают рассказчику в рот.

— ...вон там, у плотины, вдруг огонь зеленый вспыхнул. И вылетает из того огня большой комар. Спереди у него труба, а зад ноздрястый. Я сразу узнал — аспид. Ножки проволочные и на концах копыты, как у свиньи...

— А хвост был?

Выростает тень, ребята подняли головы — мельник с грозным видом:

— Кто вам шашки дал, окаянные? Ить отсюда.

**

Забрел на мельницу и Васин. Низачем, просто побыть на народе.

Васин глядит на сонную речку, на иву, стоящую на том берегу, слышит как мужики зовут мельника и тот сердито бросает удочку и отпихивается от берега. Мрачный этот мельник.

Под телегой два мужика играют в карты. В теневой стороне мельницы устроились мальчишки, сидят у доски, двигают шашки, о чем-то жаркий спор.

Купальщик выскакивает из воды, волосы перекинулись на лицо, ложится в траву и закрыл глаза. А что сейчас в этом мире?

Васин подходит к берегу и садится на корточки, уставившись в воду. На дне речки прыгают солнечные пятна, шмыгнули прозрачные мальки. Идет жизнь своим порядком, течет река, несется все в общем потоке времени. В воздухе коршун с круглой выемкой в хвосте, висит, как занесенная для удара рука. В траве бестолково бегают муравьи, юркнула ящерица с чело-вечьими лапками-руками, роговые глаза. От жары листья на деревьях обвисли. Уже подсыхают зеленые

сережки на березе, у осины они желтые, пухлые, почти осыпались — летучее семя плывет в воздухе.

Учитель прилег, надвинул картуз на глаза и сразу его взяло в полудрему. Вспомнил как шел сейчас по лесу и стало немного грустно. Но деревья согласно машут ему лапами. Белка обмахнулась хвостом, стрекочет:

«И горе вы повидали, и счастье будете видеть».

Куст боярышника добавил:

«Кто много пережил, тот и цену имеет важную».

Учитель очнулся, знакомый мужик трогает его за плечо:

— Слышь, чем лучше мазать репицу у коня?

Зашумела вода в открытом шлюзе, завертелось колесо — мужики кинулись к возам.

**
*

Уже солнце закатывается. Последним с мельницы идет Вася с деревни Орехово, везет полмешка муки — весь его помол.

Развалившись на телеге, ноги выше головы, просвечивает редкая бороденка. Вася поет:

« — Во лесах было дремучих,

Ой, брала Маша грибы,

Грибы-ягоды Маша брала...»

**
*

Становой вытянул до напряжения руки и ноги и откинув голову, безобразно зевнул — во всю пасть, как собака.

— Эй, где у них эта пасека? — через зевоту спрашивает письмоводителя.

Надел мундир и усмехаясь в усы, пристегнул шашку.

— Пойдем со мной, писарь. Да походную корзинку захвати.

По солнцепеку — служба — становой и писарь идут за село, на них любопытно оглядываются редкие встречные. Бредут, заплетаясь ногами в траве, версты две. Вот и речка. Сняв фуражку и обтирая лоб платком, становой вглядывается в даль речки. На излучине, вон за той мелью, маленький дымок, какая-то фигура и различима лодка — отсюда она кажется, как подсолнечное зерно.

Свернули, пошли по берегу на дымок. Дедушка Михей давно заметил станового, но не поворачивает головы. Около него мальчишка. Тихая гладь реки, ласковый воздух, уютная поросль тальника.

— Михей, — узнал становой деда, — здорово!

— Здорово. Рыбу пришел записывать?

— Вот, посмотрю сколько ты рыбы таскаешь, подать на тебя наложу.

— Хорошо, что оружие-то захватил, — усмехается Михей на шашку.

Становой, отдуваясь, опускается рядом с Михеем. Снял пояс с шашкой, расстегнул мундир, фуражку положил около.

— Куда тебя Бог несет при всем вооружении?

— На пасеку.

Михей насадил нового червяка и порывшись в банке, бросил ее мальчишке:

— Беги, накопай червей!

Федька внимательно посмотрел на деда, отполз, скрывшись за кустом, оглянулся и — засверкали пятки, исчез в лесу.

Становой усмехнулся и сощурился уставился на реку. Долго сидит так. Усы у него опустились, рот полуоткрыт, ветер играет волосом на лбу.

— Может ты бы нас ухой угостил, Михей. Хороша

уха на свежем воздухе. Давно не ел. А у нас тут тоже кой-что найдется, ну, конечно, и дернуть не грех.

Легки ноги у Михея, когда по хорошему делу: уж костер горит, уха пенится наваром. Становой с писарем разостлали салфетку, выложили закуску и бутылку облепили — сибирская настойка.

— Ну что ж — с исполнением желания, что ли? — подносит Михей ко рту стаканчик.

Выпил, пожевал губами, провел ладонью по животу:

— Короткий напиток водка — вот она уже здесь, чувствуешь. А вина не люблю.

Становой не пьянеет. Не весело, а грустно глядит на огонь костра. Мундир снял совсем, остался в рубашке. Долой и сапоги, бродит босиком у самой воды, оглядываясь, как мальчишка, на след своих пяток в песке.

Когда снова подсел к костру, говорит, ни к кому не обращаясь:

— Вот, попадешь так на лоно... Да не сделал ли я ошибку в жизни? Был в полку, сейчас становой, а мне, дураку, скоро сорок. Сколько радости, сколько здоровья пропустил. А к чему? Чем это лучше, что я становой, а Михей рыбу удит? Эх, дурак, дурак!

Пьяненький дед в тон ему говорит:

— Листья твои ты истребишь, плоды твои погубишь и останешься, как сухое дерево.

Выпили остатное, становой лег под куст и захрапел.

Собрались уходить уж на закате. Становой говорит писарю:

— Федька наверное распугал их там на пасеке, я уж не пойду, а ты сходи. Скажи, чтоб Чередин завтра ко мне пришел.

Обратно в село брел становой мрачно. Кому-то мысленно угрожал:

«Напьюсь я сегодня, как сукин сын! Или закажу баню, поддать жару, чтоб волос на голове трещал!»

**
*

Васин и Чередин лежат около шалаша. На полянку вбегает Федька. Оглянувшись, дышит как запаленная лошадь:

— Петр Василич, становой, в шашке, с писарем сюда идут, у деда Михея задержались!

Васин и Чередин переглядываются:

— Неужели меня идет арестовать? — спрашивает Чередин.

— Ну, что ты!

**
*

Уже совсем к вечеру на полянку пришел пьяненький писарь, передал приказ Чередину явиться к становому. Тут же и разболтал:

— Бумага о тебе, не по праву живешь тут.

После ужина Васин и Чередин ушли в лес, сидят на поваленном дереве.

— Надо и тебе, Васин, уезжать, пока еще не поздно.

Васин не отвечает. Его охватила грусть разлуки и сознание безысходной несправедливости. Кажется ему, что вся жизнь зависит от случайностей. Видел такую игру в городе: пускают шарик и он катится, натываясь то на одну, то на другую проволочку. Скачет, пока не попадет в лунку. Так и жизнь. Думал ли он, что будет сельским учителем, привяжется к деревне? А шарик скачет дальше, может быть сейчас его

швырнет в другую сторону. Какой же путь впереди и что значит наша воля?

**
*

Вернулся из села Чередин невеселый.

— Ну, что? — тревожно спрашивает Васин.

— Был у станового. Ничего не поделаешь, надо уезжать.

— Понравился тебе становой?

Чередин удивленно поглядел:

— Полицейский тип, чего там. Начал фамильярничать, предлагал выпить.

Васин промолчал.

— Чего ты так долго ходил? — спрашивает Степан.

— Был в селе, лошадь на завтра заказал. В школе у вас сидел.

— Что ж ты там делал?

Чередин усмехнулся:

— Корреспонденцию в газету писал. Уже отправил.

— О чем?

— Не скажу. Сюрприз.

Чередина всем жалко. Степан собирает в дорогу: напек и наварил яиц, сварил курицу, в бумажку завернул соли.

Васину сегодня тоже не хочется работать, все время около Чередина. Пошли к речке. Чередин, несмотря на показную веселость, грустен. Бросил прутик в воду и долго следит, как его закружило, понесло.

**
*

Чередин уехал, а жизнь на пасеке идет своим порядком. Попрежнему стоят три шалаша, только они перестали быть зелеными. Розовой скатертью колы-

шется гречиха, вымахав выше пояса. Отсчитывает солнечные капли поилка для пчел. Безжизненно повисло пустыми рукавами кособокое чучело.

Начался покос, с вечера в каждой избе веселые сборы: берестяной жбан с квасом, каравай ржаного хлеба, завязана в платочек соль, надергана с огорода морковь, брюква, редька. Приперта колом дверь пустой избы, осиротелые куры бродят по двору или копошатся в тени, под рундучком крыльца. Даже собаки не остались дома — высунув язык, не спуская глаз с вертящихся спиц колеса, они бегут за телегой.

Васин мечтает уже об осени. Покрытые потеками стекла окна, от печки жилой дух, в классе шум. Придут все эти Харлампии, Федьки, возмужалые, неуклюжие, глаза всегда что-нибудь сочиняют. Пробегают сердитая мысль о Поцелуеве, ну да Бог даст. В одном прав Чередин — надо больше работать над собой, читать, заниматься.

**
*

Задумавшийся у костра, Васин поворачивается на шум шагов. Сначала он не поверил: что-то неестественное, невероятное. Как если бы из снежной берлоги донесся звук граммофона — шагает мужиченко с бляхой на груди — десятский — и позади него жандармский унтер-офицер в полной форме. Окаменевший Васин так и не шевельнулся, пока не услышал:

— Господин Васин?

Спрашивает жандарм. У него наплывшие веки, лицо сонное, усы и борода с проседью.

Около костра оказывается и Степан. Глаза свинцовые. Как бы замороженными пальцами он застегивает пуговицу на рубахе.

— Где ваша плантация? — спрашивает жандарм.

— Какая плантация? Здесь пчельник.

— Плантация, о которой в газетах пишут.

Васин похолодел. Перед глазами «Голос отечества», Чередин с его «сюрпризом»-корреспонденцией. Вот, значит, в чем дело! Васин вспомнил, как он принес потихоньку колбасы больному товарищу, томившемуся в больнице, и тот чуть не помер. Такую же услугу оказал ему теперь друг-Чередин своей корреспонденцией.

— Только и всего! — разочарованно тянет жандарм, глядя на жалкий плетень, за которым колосится несколько кустов ржи.

Жандарм осмотрел шалаш, заметил висящую на сучке сумку, запустил туда руку и вынутую тетрадку не глядя засунул себе в карман.

— А ты кто такой здесь будешь? — щетиня усы, обратился к Степану.

Ясного Степана сбил с толку:

— На каких основаниях вы соединились здесь для совместной работы? Есть ли у вас контракт между собой? Кто главный? Как предполагали делить доход?

И усмехаясь, определяет сам:

— Понятно — на социалистических началах. Земля Божья, каждому по потребности... — знаем мы все вперед.

Обращается к Васину:

— Прошу вас следовать за мной.

— И ты пойдешь, — бросает он Степану.

Вели их как на казнь. Дятел выглянул и стрекоча помчался в лес. Боярышник уныло махнул кораллами:

— Вот они, дорогие тебе люди.

**
*

Лес, птицы, я, Степан и вдруг — жандарм! — размышляет Васин. Недоразумение, путаница, чорт еще знает что, и вот — судьба твоя решена.

Но что могло быть в этой корреспонденции? Помнится, говорил Чередину, что интенсивное земледелие освободит мужика от всяческой кабалы, возникнет новая, счастливая деревня.

— А костер-то мы погасили? — вдруг спрашивает Степана.

— Костер погасили.

Степан идет, опустив глаза и, сам не замечая, бормочет:

— Блином по морде... Дает тебе Бог в руки, а оно рыбой из рук... Берет тебя, как щенка за спину... Держишь в руках бумажку, а она фальшивая...

Васин покосился на Степана и вспомнил, какой Степан, когда читает Библию. Что-то у него общее в лице с Петькой Цыганом. Да и все они... Бабка Устинья хорошо сказала: «гадание наполняет сердце мечтами». Эта старая, тяжелая, в лоснящемся кожаном переплете книга — какой сказочный мир она раскрывает перед Степаном. И слова полупонятные — как стихи читать на малознакомом языке: кажутся еще красивее. Сидит часами, погружая душу в мечты.

Оглянулся на жандарма и подумал:

«А у нас в городе — замурлычит кот сказку, и смотришь: уж удавили, сделали из него шапку».

**
*

В школе, пока жандарм перебирал книги и бумаги Васина, Степан отвел его в сторону и коротко глядя на него шептал:

— Примирись. Все равно смерть придет. Пока жив, ходи налегке, к чему тебе еще этот груз таскать.

Хотел Васин пройти в класс, проститься со стенами, но ноги чугунные, не несут...

Из школы жандарм повел Васина к становому.

— Обыск произведен, обвиняемый задержан. Раз-

решите, ваше благородие, насчет лошадей зависящее распоряжение.

Становой встрепан, будто ночь не спал, левое веко дергается. Водкой от него...

— Ах, Васин, Васин, — хлопает он его по плечу, и, вдруг меняясь в лице, глаза бешеные, скрипит зубами: — Ну, попадись мне под ногу этот «корреспондент», будь он трижды проклят!

Становой совсем захмелел — вдруг заплакал настоящими слезами, обнял Васина, всхлипывает.

— А насчет лошадей, то до первой станции даю свою собственную тройку!..

**
*

Уже Васин и жандарм в тарантасе, как под шеей пристяжной шмыгнул какой-то мальчишка. Поднял на Васина черные, как мокрая смородина глаза, протягивает узелок:

— Мамка прислала, Петр Василич.

**
*

Рванули кони, завертелись перед глазами избы и переулки Малиновского, запели колокольцы свою вечную песню — даль зовет сладостным звоном. И вдруг понял Васин, до чего внезапно, как обвал, рухнуло его сельское счастье. Судьба проявила птичье проворство. Ощущение мгновенной невесомости, как если почва уходит из-под ног.

В ночи какой-нибудь чужой планеты сейчас видно землю — переливается на диске зеленый свет. Сонмы жизней уходят в вечность. И в этом луче — вместе жизнь Васина, леса, деревни, радость и страдание, любовь и мука. Ломанной стрелой отражается в водах чужой планеты луч земли...

Р А С С К А З Ы

СТРАШНАЯ КНИГА

Рассказ о Феде надо начать древним арабским запевом:

«Хвала Аллаху, который одарил светочи ума светом вечного созерцания и создал человека в прекрасном образе, увенчав его венцом благодати».

В молодости пришлось мне видеть несчастного Федю, купца молодого и богатого, непривлекательно-го, однако, для женщин.

От разного страдает душа, но нет ужасней муки, на которую человек себя обрекает сам. Федя мучился страхом бедности.

Конечно, судьба богатого неизвестна — не пришлось бы однажды сказать о нем: «Погиб любимец судьбы, и скоро придется его кормить кому-либо из вас».

Льются слезы и через богатство, почетна и бедность, но мудрый просит Бога спасти его от того и другого.

Пришлось мне видеть Федю, его страдания и муки. Говорили, что сирота терзался ужасно. Оставшись без-отца-без-матери в тридцать лет, он не имел другого благосостояния как деньги. А мудрые сказали, что иметь деньги — это порох носить в кармане: нет тебе покоя ни днем, ни ночью. Нет у богатого и товарищей, даже родственников, — все хотят обмануть, вытянуть, перехитрить. Не лица видит такой человек, а личины. Не дружбу, а притворство. Не любовь, а коварство. И создавши богатого в прекрасном образе, Творец

осудил его и на муку: едкое одиночество, презрение к ближнему, зависть к более богатому. Человек, это совершеннейшее создание, крутится только во зле и нет в мире другого, как одно зло.

Сказано: не смерть страшна, а страх смерти. Мудрый не боится бедности, но сильнее его — страх потерять деньги.

Нельзя без содрогания видеть Федю: страдальческие складки, убитый взор, горькие речи, безнадежность. Гибнет светлая молодость, черствеет сердце, и Федя ищет утешения в книге. Книги тоже: обман, глупость, баловство, пока не находит он старинную и действительно мудрую книгу — «О бедности и богатстве». Книга из тех же светочей, как творение Барзую, главы персидских врачей и переписчика книги Бейдебы, философа индийского, главы брахманов, составившего когда-то книгу для Дабшалима, царя индийского. Да благословит Бог таких сочинителей, их род и их сподвижников.

С этой книгой Федя не расстанется, читает днем и ночью, пока не выучил ее наизусть.

Вот оно, проклятие бедности, читает Федя.

— Сказано: несчастен тот, кто долго живет в нужде. Сказано: пусть считают скотом и коровой того, у кого нет иной заботы, кроме своего живота.

«Разве неправда? — думает Федя, — И разве не ждет и меня такая судьба, когда уйдут все деньги?»

И мысли его текут, как слова мудрой книги, тот же строй, та же горечь:

«Нет, видно и путник, и брат, и родственник, и друг, и помощник следуют только из-за денег. Я не вижу, чтобы и доблесть обнаруживала что другое, кроме денег, и нет ни ума, ни силы, как только при деньгах. У кого нет денег, мешает его бедность в достижении желаний, и перестает он стремиться к своей цели».

И в самом деле: уж на следующей странице он находит почти такие же мысли самого сочинителя:

— Я нашел, что брат неимущий не имеет ни семьи, ни детей, ни имени. И у кого нет денег, нет у того, в глазах людей, и ума, и не принадлежит ему ни здешняя, ни будущая жизнь. Бедный ненавидим даже ближним своим. И когда постигнет человека нужда, то бросают его братья и пренебрегают им его близкие. А иногда житейские нужды и потребности принуждают его искать удовлетворения этого средствами, коим он приносит в жертву честь свою и гибнет. Бывает, человек начнет заискивать у других. Но был ли кто на свете, который когда-нибудь заискивал у человека и не был бы унижен?

Федя читает при свечке. Свечка-шестерик то удлиняет, то укорачивает свое желтое жало. Федя отстранил книгу, глаза устремляются на мрачные тени. Свеча, она всегда дает страшные тени. При таком свете легко кончить с собой, легко распалить в себе отчаяние.

— Бедного ненавидят все братья его, тем более удаляются от него друзья его, — терзает себя Федя дальше. — Бедность — вершина всех несчастий, навлекающая на бедняка злобу людей. Вместе с тем ею же похищаются ум и добродетель, и через нее уходит знание и благовоспитанность. Она — верховой конь для дурных мнений и место, где кончается стыд. А у кого пропадает стыд, уходит и радость, и встречает он злобу, а кто встречает злобу, тот бывает обижен, а кто обижен, тот печалится, пропадает у него разум, и плохи становятся память и ум. У кого же недостаток постигает ум, память и разум, у того большая часть его слов бывает против него, а не за него. Я обнаружил, что обедневшего человека начинает подозревать тот, кто прежде думал хорошо. Если согрешит другой, думают на него, и становится он мишенью для подозрений и злых мыслей. И нет качества, которое не было

бы для богатого в похвалу, а для бедного не стало бы порицанием. Если он храбр, его назовут опрометчивым, если он кроток, его назовут слабым, а если он исполнен достоинства, его назовут тупоумным. Погибель для бедных их бедность, и смерть легче бедности. В одном осажденном городе нашелся человек умный, но бедный, и он спас этот город умом своим, однако никто не вспомнил об этом бедном человеке. Ум лучше силы, однако же ум бедняка не уважается, и слова его не слушают.

Со стоном отрывается Федя от книги, где каждое слово вонзается в сердце, и босой идет к иконам, падает ниц, молит о спасении.

— Человек, пораженный нуждой и стеснением, от которых он не оправился, либо лишенный власти и богатства, бывшего в руке его, — на всякого такого человека не след спешить полагаться царю, доверять и верить ему... — перебивает молитвенный строй его мыслей еще одно яркое место из книги, врезавшееся в память.

А шестерик бросает от Феди тень на стену — уродливая громадная обезьяна творит непонятное дело или мохнатый ведьмак мечется от потолка к полу.

Но нет беспросветного горя. Загнанный в угол зверь решается на отчаянное и бросается, наконец, на своего мучителя.

Федя снимает комнату у вдовы-дьяконицы. Через нее просачивались в село слухи о какой-то страшной книге, о ночных бдениях Феди, разговорах с самим собой и о многом другом.

— Известно — деньги, до кого не доведись, разве сладко, — шепчет дьяконица.

— Раз такие деньги у человека — жениться надо, а то спятит, — вздыхает соседка.

Растворяются двери, мимо женщин проходит Федя: серый, под глазами круги, подозрительно огляды-

вается, губы крепко сжаты. Идет на могилку к родителям.

Сторож погоста не боится Феди, заметил его и подходит:

— Убиваешься?

— Уби-ваюсь, — едва выговаривает Федя, губы у него, как из глины: тяжелые и вот-вот отвалятся.

— Ну, что-ж: в час добрый, — убивайся, пока жив.

Разговор прекращается — сторож заметил две голы, показались и сразу спрятались за забором. Мальчишки дивуются на Федю. Сторож крадется, но мальчишки исчезают. Тишина. Федя чувствует себя, как береза в лесу, если с нее одной ободраны все листья — обездоленная.

Дьяконица нашептала отцу Василию, и однажды он пришел к Феде. Едва достучался — Федя не открывает кому попало. В комнате затхлый воздух — окна наглухо, смятая постель, неугасимая лампада перед образом. Отец Василий крестится на образа, а Федя прячет под подушку какую-то затрепанную книжку.

— Чего, Федор, сокрушаешься? — говорит отец Василий. — Дух человека дает пищу его болезни. Но духа уныния никто не может перенести.

Льет бальзам на истерзанную душу богача:

— Надеющийся на свое богатство падет, но праведные расцветут, как молодой отпрыск. Умному нет радости в большом богатстве, ни печали в малости его, — поучает отец Василий, — богатство это, как тень облаков, дружба со злыми или ложная хвала — нет в этом постоянства.

Федя вздыхает, не смотрит на отца Василия, положил руки на колени, сидит как у фотографа.

— Богатый человек мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Завистливый человек спешит к богатству и не знает, что нищета постигнет его. По-

смотри, Федор, на бедного, ходящего в своей непорочности. Не печалься, если один день у тебя будет мало денег (Федя заметно вздрогнул), доблестный почитается и в бедности, яко лев, который внушает страх, даже когда он лежит неподвижно. А богатого презируют, если нет добродетели у него, как собаку, к которой относятся с презрением, хотя и разукрашена она ошейниками. Быстро портит человека не нужда, а богатство. И деньги, и прочие блага жизни скоро приходят, когда приходят, и быстро уходят, когда уходят. Довольство жизнью лучше богатства.

Дверь приоткрывается, и дьяконица делает знаки, шепчет: «Вспрысните его святой водичкой, батюшка», но отец Василий сердито отмахивается.

— Ну, прощай, Феодор, купеческий сын, — поднимается он — помни: не тронет нужда душу бедного, и не унижит его, если душа еще жива и нет пропасти, из которой Бог не поднял бы человека, если он достоин и хочет этого.

Федя остался один, ни жив, ни мертв: ему ясно — отец Василий не сомневается в его разорении, готовится его к страшной доле. Эта беседа, как соборование безнадежно больного.

Что будет делать человек, истомивший себя воздержанием? Как поведет себя закаявшийся пьяница, если его уверить, что все равно погибнет он под забормом, сгорев от вина? Нет ли предела всякому терпению?

Вот они — «бедные, ходящие в своей непорочности», — думает Федя, выглядывая из окна на базарную площадь, куда сегодня съезжаются крестьяне со всей округи. Противные веселые морды — о чем таким печалиться? — раздражающий смех, глупые шутки. Животные, скоты.

«Но почему все-таки отец Василий приходил меня успокаивать своими речами? Что ему стало известно?

Почему он хитрит со мной, не сказал прямо? Конечно, не просто это...»

А что если... — вдруг ознобом мелькает у Феди мысль, — что, если... Если вот взять, выйти сейчас на базар и поиздеваться над ними. Денег вам надо? Нате, жрите. Думали, я не вижу? Я все вижу. Нате, жрите. Еще? На, подавись.

Эта мысль как стакан с ядом перед глазами отчаявшегося человека. Что если...

Но нет. Чего-чего, а этого они не дождутся.

Шум на базаре, гогот, смех, песни — становится невыносимо.

Нет, этого они не дождутся, — думает Федя, — но посмеяться над ними...

Федя решительно берет шапку и выходит на базар.

Особого переполоха его появление не произвело. Федя даже удивился. Впрочем, хитрят, наверное.

Идет по сенному ряду. Воз сена. Федя подходит, дернул за веревку — воз стянут слабо — обман. Засунул руку по локоть в сено, спрашивает:

— Ты это за воз продаешь?

— Известно, воз.

Федя злобно взглянул и пошел дальше.

— Стой, купец, — кричит мужик, — сколько даешь? Ведь и цена по возу.

Но Федя уже около овса. Берет горстку с воза, пересыпает с ладони на ладонь, отвеивает сор, пробует зерно на зуб, выплевывает.

— Сколько у тебя возов? — обращается к мужику, не спросив даже цену.

— У меня один, да вот у Семена два. Тебе сколько надо?

— Десять возов, меньше не покупаю.

Федя идет дальше, а за его спиной удивленные взгляды, перешептывание, цены мчатся вверх, не подступись.

И где ни проходит Федя, после него молчание. Заметно стих шум и гам — люди серьезные.

— Вот оно, не зря Федя сидел, дурачком прикидывался, — заявляет седой дед, — вот оно, теперь все скупит.

Базар кончился мрачно: никто не хотел продавать. Даже старуха — продает лук — подобрала губы, прикрыла юбкой лукошко и сидит не шелохнется — не дура, чтобы спускать по такой цене, что потом смеяться будут.

Вечером к дому дьяконицы подошла толпа. Впереди седой дед, на вытянутых руках хлеб-соль на полотенце. Когда Федя вышел, то все сдернули шапки, подталкивают деда.

— Мир пришел поздравить тебя, Федя, с началом комерции, — заявляет дед, — в добрый час!

Федя злобно взглянул на хитрецов, стоит, не шелохнется. А мир напирает:

— Не побрезгуй откушать у нас.

Чествование происходит в избе старого деда. Федя мрачный. Беда видеть насквозь людей: не лица, а личины, не дружба, а притворство. А кругом сгущается воздух такой лести, что глаза на лоб. Но что-то казалось и правильным. Федя подобрел. Откушал стаканчик, другой.

В глубокую ночь на столе стоит лампа, стекло лопнуло, чадит коричневая от жары бумажка, приклеенная на дырку, к Феде тянется слюнявыми губами пьяный дед:

— Друг наш, благодетель, Федя. Уж так за тебя сердце болит, чего ты сторонишься. Да разве мы по корысти? Эх, поверь старому.

— Не имей сто рублей, имей сто друзей.

— С мира по нитке, голому рубашка.

— Один в поле не воин.

Слушает мудрые речи Федя, и сердце оттаивает. Умней мира не будешь. Что капитал без людей?

Под утро дьяконица встретила Федю со свечкой, сзади ее страшная тень к потолку, глаза у дьяконицы, как серебряные гривенники — круглые и тускло блестя: испугалась.

Федя еще в кровати, не пришел в себя, как за дверью шум.

— Федя, здравствуй, — вваливается дед, в руке бутылка водки, — вот, опохмелиться принесли, откушай немного, а больше ни-ни. Пьян да умен, два угодя в нем. Вот как мы. Пить умереть и не пить умереть. Во благовремении...

В пьяном навождении вспоминает Федя только отдельные картины.

Откуда эта солдатка? Чего лезет? Где он, опять у деда?

— Родимый, суженый. Сохну без тебя, не буду греха таить. Красавчик мой.

Жарко прижалась солдатка, впилась в Федю.

— Эй, почтенные, выйдем-ка на минутку! — распоряжается дед.

Опять пришел отец Василий.

— В каком ты образе, Феодор, — начинает он, — в каком подобию? Для чего деньги в руки безумного? Федя угрюмо молчит.

— У кого горестные восклицания? У кого стоны? У кого ссоры? У кого пустословие? У кого безвинные побои? У кого мутные глаза? — восклицает отец Василий. — У тех, которые сидят до позднего времени за вином, у тех, которые хотят отведать напитка, растворенного с пряностями. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, падает ровно.

Впоследствии оно укусит, как змея и ужалит, как василиск. Так говорит писание.

Федя безнадежно молчит. Отец Василий посмотрел на его синее, одутловатое лицо и, поднимаясь, скорбно говорит:

— И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. А что ты делаешь с даром?

Стоя на пороге, он заключает:

— У богатого много друзей. Только что толку? С кем ты спутался, оглашенный?

В душе Федя считает, что во всех его несчастиях виноват отец Василий. Зачем, все-таки, он тогда, в первый раз, пришел к нему? Почему он его пугал, как будто Федя уже потерял деньги. Что ему было известно тогда, и почему он не сказал?

Правда, книжка терзала еще больше. Но то книжка, а то человек, священник. Не сам ли он говорил, что составлять много книг — конца не будет и много читать утомительно для тела.

Нехорошо поступил отец Василий.

В угаре самого черного хмеля является Федя к отцу Василию. Батюшка возрадовался:

— Ну вот, давно бы так. Каяться пришел?

— Церковь покупать пришел, — едва ворочая языком говорит Федя, — как капитал мне позволяет, то хочу купить себе церковь. Только цен я не знаю, почем они сейчас ходят. Ты уж определи правильно.

Отец Василий в испуге отшатывается, набирает воздух.

— Моя будет церковь, и пускать в нее будем по выбору, — торопиться сказать Федя, — а колокола снимем, мне они в другом месте нужны будут.

— Они нам в другом месте надобны будут, — высовывается из-за спины Феде дед.

Что случилось, не поверить. Небывалое происшествие на базаре. Впереди идет дед, очищая дорогу Феде и его приближенным — пьяная ватага мужиков.

— Сейчас весь базар будем покупать, — объявляет дед, — эй, говори ваши цены, покупаем все, знай наших.

Федя не глядя раздает кредитки — задаток по указанию деда. Мужики рвутся к купцу, отталкивая друг друга, бабы надсадно кричат, вызывая отлучившегося мужа, дети заливаются плачем, со стороны видно только толпу, в середине которой скачет и беснуется дед, загораживая Федю.

— Чей воз? — орет дед. — Покупаем, бери задаток. А это чей?

На другом конце базара смятение:

— Война, — кричит на ходу мужиченко, — базар скупают! Для армии. Прикидываются пьяными. Гони, ребята, а то сейчас сюда дойдут. Спасай добро.

Скрипят возы, крики мужиков, две телеги сцепились втулками, не разъедутся, мужик впрягся в оглобли, лошадь была распряжена, тянет воз на себе, бабы воют.

— Война.

Впереди мчится старуха с лукошком, она все еще не продала лук, выжидает настоящую цену.

Перед домом дьяконицы новый базар: сгоняют закупленные возы. Распоряжается дед:

— Которые с сеном, становись сюда в ряд. С овсом — туда. Это что? Рыба? Разве мы и рыбу купили? Ну, все равно — вали сюда. Соль? Вот кстати. Живей, православные, шевелись.

Федя стоит, прижавшись спиной к забору, лицо зеленое, глаза дикие, бросает мужикам деньги:

— Денег вам надо? Нате, жрите. Думали, я не вижу? Я все вижу. Нате, жрите. Еще? На, подавись.

После того, как Федю, связанного, безумного, увезли в город, дед разъяснял:

— Книжка у него тяжелая была, книжка погубила Федю.

Погиб любимец судьбы. Но сочинение «О бедности и богатстве» все-таки хорошая книга, хотя и не Барзудей написана. Да благословит Аллах память о сочинителе, — человеке из дома ума, образованности, достоинства, щедрости и благородства.

А что до Феди, то сказано: если человек пробует на себе яд змеи и умрет, то нет в этом вины на змее.

МЫ ЖИЛИ С ВАГНЕРОМ

Одно время я думал, пусть история с Вагнером останется между нами: мною, моим племянником восьми лет — звать Петр — и Вагнером.

Петр... Об этом, впрочем, потом.

Вагнер был профессором зоологии в петербургском университете. Он известен и как сочинитель сказок — Кот-Мурлыка. Поэт и мистик. Держал белую мышь и никогда с ней не расставался.

Петр, по моему наущению, назвал свою белую мышь — «Вагнер». Можно, если хотите, считать, что в эту мышь переселилась душа настоящего Вагнера. Кое-что заставляет меня задуматься: вдруг — в самом деле?

У меня к этой мыши такое отношение, как у Альфонса Додэ к кроликам. Помните его «Письма с мельницы»? Заброшенное строение, все заросло травой. Он стоит, оглядываясь, и кролики — одичалые кролики — выползли откуда-то из травы и смотрят: на задних лапках, передние висят, как сломанные, ушами поводят, нос вздрагивает.

В Сибири охотники-туземцы называют всех зверей «люди». Все мы люди — и я, и мышь, и кролики.



С профессором Вагнером — зоолог и поэт! — интересно поговорить. Всю жизнь познавал живое, соединил положительное знание с мистикой, имел таинственного друга — мышь, у него составилось свое

представление о душе животного. Несомненно, этот бородатый чудак дошел до какой-то особенной мудрости.

Я начинаю издалека:

— Крошечное создание — мышь. Смотрите, как она ползает по руке, обнюхивая меня. Или когда я совсем приближаю лицо к ней и слышу ее усики на своем носу — это пробуждает нежность. Кажется, она меня узнает и без меня — скучает.

— Скучает? Мышь никогда не скучает, у ней или заботы или игра. Она живет воображением.

— Счастливая.

— Но кроме счастья в жизни ничего и нет. Только человек думает, что счастье есть что-то временное, случайное. Счастье — это состояние, когда стрелка душевного компаса не отклоняется, точно указывая живому предписанное направление. А человек... Еще в детстве человек теряет способность игры с самим собой — вот первое отклонение стрелки. За ним следуют другие, пока жизнь не покажется невыносимой.

— Человеку есть чему поучиться у животного!

Вагнер улыбается, расплылся и... мелькнув хвостиком, шмыгнул мне в рукав — там он прячется от меня.

**
*

Рассказываю Петру, какой нахальной становится в пустыне Гоби наша дура-ворона:

— Представь, на бивуаке появляется их целая стая и нагло рвут из рук кусок мяса, разозлят верблюда, гоняют собаку. Одну убьешь — других это не останавливает.

— Жарко им в пустыне.

— В Гоби зимой бывает сорок градусов мороза... Где Вагнер?

В полумраке комнаты мелькнула белая точка — Вагнер исследует укромные уголки пола. Носится стре-

лой или нашел бумажку, забирается под нее и начинает грызть. Нам только шикнуть и он стремглав в коробку, в ней он спит. Петр берет коробку и вытряхивает Вагнера мне на колени.

В дверях молчаливо появляется кухарка Марфа. Глядит насмешливо на нашу дружбу с Вагнером и щелкает семечки. Кладет в рот зерно и каждый раз кивает. Мы не обращаем на нее внимания, она уходит и возвращается с блюдечком молока:

— Нате вашему мышу, — бормочет, ставя блюдо в угол.

Ага, никогда люди не бывают такими, как кажутся! Марфа уходит, почему-то задом открывши дверь, будто в живот ее ткнули.

**
*

Петр играет все время с мышью и начитался Дурова — открыл свой цирк. Будто бы вот так все произошло:

Набрал «людей» отовсюду: медведи, волки, лисы и даже лев. Сдружился со всеми через мышь — опять Вагнер. Над лесом накинута парусиновый шатер. Внутри горят электрические лампочки, и все становится необыкновенно — птицы не ложатся спать, сидят с расширенными глазами, у некоторых даже клюв полураскрыт.

Густо откашливается за кулисами лев. Волк выдает билеты, строгость его известна — даром никто не пройдет. Мышь Вагнер прогрызла внизу дырочку и тайком провела серых мышей. Они скромно сидят, навостривши уши, чуть-что — дралка.

Сам Петр ходит в атласном костюме, сафьяновые туфли, лицо посыпано мукой. Даже Вагнер удивляется: сперва понюхает, потом верит — Петр.

Среди зрителей лягушка. На ней сегодня темно-зеленое платье с белыми пятнами. Оживленно разго-

варивает с соседкой и смеется: рот растягивает до макушки, прикрывается зеленой лапкой. По рядам ходит лиса в белом переднике — продает шоколад. Со всем в глубине сидит Марфа с гостями — видны лишь темные провалы лиц.

Представление начинается пустяком. На полянку выпархивают девицы в белом и кружатся на носочках.

— Бабочки! — лапкой показывает лягушка.

А вот двое: худущие, кости да кожа, один повыше, другой пониже. Пересекли полянку, стали рядком, и бычась подбородком прилаживают скрипки, глядят исподлобья. Повыше который — хлопнул ногой, и начинают. Да так скрипуче...

— Кузнечики! — опознал Вагнер и пискнул на весь цирк.

Все смеются.

Грянул оркестр, птицы на ветвях шарахнулись, выходит сам Петр. Ему подают лунный луч. Тонкий, длинный, блестит как игла, взглянешь — глаз не оторвать. Луч у него в руках, но сразу скользит, отходит, манит за собой. И он идет за ним, идет по воздуху, по тонкой блестящей проволоке, и знает: пока глядит на луч, никогда не упадет, не собьется...



Если я скажу, что лошадь любит есть карасей — никто не поверит. Но что Вагнер чувствует человеческое горе — в этом мы, Петр, Марфа и я, даем слово.

Мы отучаем Вагнера от мышинной привычки спать днем. Конечно, ночью он лучше видит, ему удобнее, но — раз в компании, то надо чем-то поступиться. Этот день мы взвешивали Вагнера. Посадить его на чашку весов трудно — егоза. Мы его в коробочку и потом коробочку взвешиваем отдельно. На мышь получилось двадцать пять граммов.

Покончив с этим делом, пошли, каждый по своей надобности. Вагнер воспользовался случаем и заснул. Перед этим он натаскал бумажек и закрыл ими вход в коробку.

Когда я вернулся, то застал происшествие: Марфа плачет самыми длинными слезами — из деревни плохие вести. Я ее тормошу вопросами, Петр выглядывает из-за меня. И вдруг — как это случилось? — мышь, только-что спала в коробке — на кухне! Проскользнула за Петром и взобралась на кровать к Марфе.

Мы закричали, а Марфа бранится, требует убрать «эту нечисть».

— Марфа, — сразу догадался Петр, — Вагнер тебя приласкать хочет! Смотри, ластится.

А Вагнер действительно тычет носом в руку Марфы. Та взглянула и окаменела: Вагнер понюхал ее и уж взбирается на руку.

— Маленький ты мой, — завывала Марфа, — все-то он понимает, животная!

И горя как не бывало — заботится убрать Вагнера из кухни: повсюду тараканий мор.

Петр тоже рассказывает: он плакал как-то, Вагнер услышал и тут же примчался. Сел на задние лапки, и передними подбрасывает бумажки и ловит их. Жонглер, да и только. Петр сразу забыл о чем плакал.

Я себе тоже захотел хоть завялящего горя, испытать Вагнера, но как-то не случилось, не было мне в этом счастья.

**
*

Профессор говорит — жизнь сплошное счастье. В самом деле не распоряжаемся ли мы своей жизнью, как бедняк найденными случайно деньгами: напился, деньги растратил, голова болит, вспоминает гадости, что натворил.

Петр разговорился с Марфой и пришел ко мне с вопросом:

— Будет ли на страшном суде Бог судить мышь за грехи?

Я ему рассказал о зайчике Франциска Ассизского и как у Киплинга — готовился обвал в горах, и животные предупредили отшельника.

А Марфа тут как тут, стоит, оказывается, у двери, пригорюнилась:

— А Серафим Саровский с медведью, — вставляет.

Вагнер, слыша, речь почти о нем, забрался на Петра и щекочет усиками за ухом — рассмешил.

Ночью, когда Петр и Марфа спят, надо будет побеседовать с профессором Вагнером. Просто несколько вопросов по зоологии — люблю беседы ночью, когда настольная лампа очерчивает круг света, из угла ползет мрак. Тишина, только Вагнер шебаршит бумажкой где-то здесь, около, в гряде рукописей.



Мне снится, написал такую хорошую книгу, что и Петр, и Марфа, и какие-то ученые люди в очках, и Вагнер — все меня похвалили. Гляжу на стрелку — не то монометр, не то компас — стрелка вздрогнула и поползла. Туда-сюда, и остановилась на черте: «счастье».

Вижу пальмы, сидит обезьяна, держит в руках банан. Цирк, Петр в атласном костюме, лицо посыпано мукой, сейчас будет номер льва. Он не в духе, рычит, но увидел мышь, усмехнулся, и пропало настроение сердиться.

Вижу, к часовщику пришел сердитый старик, дает в починку компас: совсем испортился, стрелка болтается где-то внизу.

— Я, — говорит сердитый, — хочу эту поганую штуку об пол, вдребезги!

Часовщик — борода сивая, взлохмаченный — повертел компас, покопался в нем.

— Починить, — говорит, — еще можно, только дорого вам обойдется.

Сердитый взял компас и стучает его тихонько о рукав, не пойдет ли стрелка сама...

Гляжу на уши Вагнера — просвечивают. Такие нежные, что хочется помять. Пальцы на лапках, как у нас или обезьяны — охватывают спичку, каждый может сгибаться отдельно.

— А зачем ему хвост? — спрашивает Петр.

Действительно, думаю, зачем хвост, когда у Вагнера и так много воображения? Я почему-то верю, что у Вагнера вся сила воображения от хвоста. Но должно-быть очень нужен, только спросить саму мышь как-то неудобно...

Вагнер — профессор — всходит на кафедру. Я — молоденький студент — раскрываю тетрадку, сейчас буду записывать. Вагнер говорит о перелете птиц. Умученный перелетом снегирь садится отдохнуть. Вагнер со вздохом показывает на него: «совсем замучился человек!» Тут на меня понесло пряным запахом урмана — я в царстве зверей, здесь я гость. Прислонился спиной к кедру, хочется не то плакать, не то улыбаться. Ощупываю на груди компас. Здесь он, не заблужусь.

**
*

Петр устроил дом для Вагнера. Поставил ящик стоймя, сбоку высокая лестница, качели, перекладина и висит канат. В углу ящика маленькая дырка, Вагнеру с трудом пролезть — это он любит.

Теперь мы не боимся Марфы, и когда обедать — приносим ящик и ставим на стол. Вагнер делает свои штуки — вверх-вниз по лестнице, чистит мордочку,

сидя на качелях, взбирается по канату или выглядывает из дырки. А то пролез в дырку, а хвост забудет снаружи.

Мы едим и наблюдаем. Иногда Петр хватя меня за рукав:

— Смотри, что он делает!

Марфа ворчит, но вчера купила рыбу — мы никогда не едим, однако Вагнер любит хвостики. Завладела солонкой — туда насыпана крупа для Вагнера. В рюмке вода, Вагнер забирается и перегнувшись, только зад наружу — пьет. Ест он мало, но все толстеет.

Мы спорим — кому из нас оставлять ящик с Вагнером?

— Ты все-равно ночью ничего не слышишь, — говорю.

— А тебе зачем? — недоверчиво спрашивает Петр.

— Ночью он грызет дерево, — отвечаю, — я проснусь, услышу и думаю.

Согласились на том, что я приношу Вагнера в постель к Петру, он тянет к нему губы, Вагнер пощечочет усами и Петр, счастливый, засыпает.

Марфа говорит, что мы есть стали вдвое:

— А то бывало с книжкой моды завели — что за еда.

Ночью проснулся, Вагнер грызет ящик. Потом затихло, малый заснул. Зажжешь спичку, полюбуйешься. Вагнер спит на боку, лапки под мордочку, или на животе, лапки подобрал под себя. Иногда полупроснется, лапки вытянет перед собой, как на гимнастике, те же повадки, что и у нашего брата.

Теперь я вообразил, у меня тоже хвост, и начал представлять, что Вагнер видит во сне.

Будто он видит Франциска Ассизского. Сверил с ним компасы — идут одинаково. Удивительно. Потом будто он — белая мышь — стал полевой мышью, жи-

вет в земле. Темная осенняя ночь. Поле пустынно. Ветер, все мыши спрятались в норки. Вдруг в поле выстроился частокол солдат. Звякают котелками, говорят вполголоса. Враз побежали. И тут началось: где-то бухнет, и на поле вырастает черный куст, из него рвется огонь и летят камни. У людей война.

Глубоко в земле большая нора — там прячутся солдаты. Живут, сегодня там, а завтра, может, и в живых не быть, а все тащут: коробки из-под консервов, веревочку, старый гвоздь — если оставить их здесь, то воз добра — Вагнер невольно ухмыляется: те же повадки, что и у нашего брата.

У солдат компасы. Не то, что на черте стоит стрелка, но около — бояться нечего. Вагнер насыщает свое любопытство, приглядывается. С компасами у людей чудно: как беда — стрелка поднимается, полегчало — сразу пошла вниз. Как-то все солдаты выбежали, а один остался: плачет, чинит свой компас, там что-то заело и нет сил выбежать за товарищами. Плачет, несчастный, «зачем на свет родился», — говорит. Вот те раз, — думает Вагнер, — до чего дошло! Солдатик перекрестился, стрелка заколебалась, и так — лицо в слезах — выскочил за другими.

Вагнер всходит на кафедру, показывает какую-то стрелку, и сурово говорит студентам:

«У животных одна мораль — жить счастливо!»

Все ли поняли его намек? — обводит он мышинными глазами аудиторию.

**
*

Марфа гневается. Как гроза в туче, ширится у ней в сердце гнев, пока не разражается:

— Завели мыша, целуются с ним, срам!

— Ну, чего ты.

Марфа показывает платок, в нем дыра:

— Вот он каков, ваш мыш! За хлеб-соль, за ласку.

Я обещаю купить новый платок, но ей не успокоиться. Беру мышь на ладонь, подношу к Марфе:

— Ну на, бей!

Марфа шарахается:

— Чего вы! Несмышленную тварь — Бог с ним, с платком. А чтоб в кухню ко мне он ни ногой! — кивает на мышь.

Знаем мы ее, эту Марфу.

**
*

Как-то собрались у меня в кабинете Вагнер, Альфонс Додэ, Петр. У притолоки прислонилась Марфа, опять щелкает семечки.

Додэ клянется и божится, что кролики на мельнице показались ему тогда гномами.

— А вы не испугались? — спрашивает Петр.

— Нет, только сердце екнуло, захотелось мечтать.

Я обращаюсь к Вагнеру:

— Почему, профессор, вы говорите, что мир не реален?

Вагнер пошевелил усами:

— Потому, что нет ни одного мига, когда вы остались точно таким же, как были перед этим.

Додэ заволновался:

— Но ведь эта пепельница реальна?

Вагнер зажал пальцами спичку:

— Мы все время меняемся, и окружающее нас тоже. Таков закон вселенной.

— Но ведь я-то, я? — вскрикиваю.

— В этом смысле гриб есть гриб.

— Позвольте, зачем же мы тогда существуем, зачем стремимся к счастью? — волнуется Додэ.

— Ха-ха-ха! — заливается Вагнер, и стрелой на другую сторону стола.

— Барин! — раздается у притолоки.

Я отмахиваюсь, сейчас скажу главное, но Марфа трогает меня за плечо:

— Барин, вставайте! Мыш пропал.

Протираю глаза. Надо мною Марфа со встревоженным лицом:

— Говорю вам — мыш пропал! Что делать, сейчас Петр проснется?



Одеяльце Вагнера тут, а его нет.

— Вагнер! — жалобно покрикиваю.

Вагнера нет. Что скажу Петру, как мы будем жить без Вагнера?

Допрашиваю Марфу, почему она раньше всех пришла к коробке Вагнера. Оказывается — хитрая! — она каждое утро, пока мы спим, носила Вагнеру крупу и хвостики, а мы удивлялись, почему Вагнер мало ест.

День за днем надежда падала, мы смирились. Петр, тихий и похудевший, сидя у меня на коленях, очень серьезно сказал:

— Ты много пишешь. Напиши им про Вагнера.

ЛУННЫЕ ЗОВЫ

«...Не будь вырезано в шкурке у кота две дырки как раз в том месте, где глаза — был бы он слепой. Свет и огонь прячутся в головке спички, не появляются же они из ничего, и разве что-то может быть там, где его нет? Облака, Обь-Ока...».

Он просыпается, мутно поводит глазами, поднялся на локте и видит поверх травы, «зеленого царства» (почему оно именно *з е л е н о е* ?), цветы: желтый лютик — надкусить, не отплюешься горечью, львиный зев, колокольчики, одуванчик, гвоздики.

Не полагается все-таки, будь ты и десяти годов, спать днем. Этот сон в тягость: мысли заплетаются, наступают одна на другую, ничего не разберешь.

Когда, заморившись, час назад прилег, тень куста лежала на нем, а теперь в голову бьет ему предвечерний, но еще жаркий луч. Он поднимает вверх ноги и, сгибая в коленке, вдруг выкидывает вперед. Тело, толчком отделяется от земли и он, стоя на ногах — выше самой высокой травы. Идет к пруду, из-под ног скачут кузнечики, а самой проворной оказывается лягушка, на нее никогда не наступишь: лягушка, как безногий, рывком бросает свое тело сразу на десять пядей.

Садится на берегу, думает: «что сильнее — свет или темнота? Пожалуй, свет, но темнота берет измором и свет уходит...» Снял сапоги, опускает ноги в воду — тогда сон совсем долой: сейчас легко и весело. Просунул палец в ушко сапога, он крутит его над

головой ссекая метелку за метелкой тмин. Трава, склонившаяся под ветерком, кланяется ему, гордому мстителю всем непокорным.

Невдалеке стог сена. Он выгребает по-собачьи норку и, пятась, забирается в стог. Закрылся сеном и стог стоит, как нетронутый: хранит в себе живую тайну. Сквозь сено, как через сетку, видно далеко: застывший воздух, оса, пруд. Голова кружится — пахнет душистым сеном и кругом шуршит. Кажется, жизнь видишь откуда-то сбоку, невидимкой, идет без меня и ничего от того не меняется...

Но молчание в одиночестве надоедает. Пыхтя, он выкарабкался и долго чистится: забилась труха в волосы, за воротник и под рубашку.

Вечереет, возвращается он домой. На террасе накрывают к ужину. По улице бредет стадо. Коровы — какие умницы: каждая сама выходит из стада и заворачивает к своему двору; если ворота закрыты, мычит; непременно хотелось это запомнить.

Марья приносит крынку парного молока, ломоть ржаного хлеба. Вносят из комнаты лампу, о свет бьются мошки и с большим брюшком бурая бабочка. В ночи косым полетом проносится летучая мышь, где-то лают собаки, на перила вскакивает кошка и, сверкнув зеленым глазом, брякается на лапки.

Пока убирают со стола, он сидит, сейчас отошлют спать. За день выспался, теперь не хочется. Идет в свою комнату. Огня не надо: в комнате светло — луна.

На полу квадрат окна, чернеющая тень от стола, а там, над деревьями, поливает зеленым.

Он стал и глазами в луну: кто кого пересмотрит? И долго так пристально глядит. Перестает слышать кругом: в кустах пел соловей — нет его, замолк; за садом на пруду хором квакали лягушки — перестали.

Глаза их сцепились — только он и луна — не оторвать. И чувствует, как руки стали чужими и всего

его, как течением реки, ласково несет туда, к морю зеленого лунного света.

В сознании мелькает последнее, зацепляется, но вот он уже и там!

**
**

Идет в роще бананов, раздвигая листья — зачем им такие большие? — весь охвачен свежестью влажной земли. Ноги цепляются за корни, но он идет все дальше. Ничего и не страшно. А далеко, через волосатые стволы пальм, видит, мелькают красные, зеленые, синие огоньки.

Полянка. На ней танцуют нарисованные в книжке карлики в колпаках и с бородой. Увидели чужого — и врассыпную. Он было погнался, но с первого шага видно: лунной земле конец. Перегнулся через край, а там, в темноте, одни яркие звезды, как раскаленные угли крутятся. Шикнул — и они покатались кто куда, остался только Млечный путь, но без увеличительного стекла не разгадать, очень мелко.

...В окно подкрался карла, озирается опасливо, подождал и прыгнул на пол. Другой — вылез из-под стола, оба переглянулись и уставились на кровать, палец в рот: на подушке, залитая светом луны, голова мальчика: спит, щека на ладошке, от ресниц тень, губы вытянуты, посапывает...

**
**

Утром проснулся невеселый — тоска. И все кто-то окликал и от этих зовов томило. Ни игра солнца, ни щебетанье птицы, ни суетня мохнатой осы у сирени, ничто не занимало.

Весь день он ходил в полусне: глаза удивленные и смотрят куда-то вдаль. Плохо поел и сразу же из-за стола бежал на пруд.

Сел на берегу, размечтался. Как хочется и днем

пережить такое, что никак невозможно. Идти бы ему сейчас под водой и отыскать, кто это там пузыри пускает. Погнаться за стайкой рыб, всех распугать, нарядиться в зеленые водоросли, а ночью выйти на бережок, на воздух. И кто мимо пройдет, не узнает, подумает: мохнатая кочка или пенёк с молодой порослью.

Зеленая лягушка вылезла из воды и села сушиться на солнце: белое брюшко, задними лапками оперлась на локотки, передние расставила, растопыря пальцы; глаза в очках, рот растянула, губы зеленые, лихорадочные.

Хоть бы день один пожить лягушкой, а потом все рассказать, может — она и не такая...

**
*

К вечеру вспыхнуло зовом лунное, и он пошел в свою комнату пораньше, отодвинул стол от окна, сел, опершись щекой на кулак, глазами в темь сада. Стрекочат кузнечики — чего-то им не спится — по-свистывает птишка, перепугивается хором, деревня на деревню, лягушачий народ на пруду.

Он понимает: ждут луну.

И вот вся небесная окрестность посторонилась, деревья поникли, вышла большая луна и заняла свое место.

Широкая небесная дорога в перелив огоньками, вся усыпана блестками — бегут, меняются и звенят стеклянные колокольчики. Полянка, что и вчера, но на ней столики, как в городском саду. За одним — личность в зеленом платье, белая вставка на груди. Присматривается, узнает: да это лягушка — сегодня купалась в пруду. Кланяется и поманила:

«Здравствуйте, — говорит, — я вас сразу узнала».

«А я думаю, вы это или не вы?»

«Очень неловко, я купалась при вас: никак не думала, познакомимся».

Лягушка ему нравится, в лице что-то очень хорошее. Платье на ней темно-зеленое, как у Марьи Ивановны, соседки.

«Расскажите, — говорит лягушка, — как это вы живете, как время проводите — и все по часам, все размерено, скучно должно быть? И о чем думаете — не все же только корм».

«Нет, — перебивает он, — это вы, пожалуйста, расскажите. Вы все купаетесь? Почему вы не хотели там на берегу познакомиться и поговорить со мной?»

«Ой, нет, — отвечает лягушка, — напротив!»

С огромным подносом в руках мчится карла, бо-роду, чтобы не наступить, перемахнул за плечо.

«Нравится у нас? Сегодня у нас очень гостей множество!»

Он улыбается, а карла на цыпочки и совсем к его носу, шепчет:

«Вчера у вас мы были, разглядывали вас, да вы спали».

Карлик кивнул и с подносом в чашу: конечно, самовар сапогом раздуть.

Проходит мимо мохнатый, весь в зеленой пакле. Ближе к столику и за лапку с лягушкой — здравствуйте. Лягушка под столом толкает и на ухо:

«Этот самый, пузыри со дна пускает. И все дома, все на дне сидит, копается в грязи, червей разводит».

**

И снова луна — заслонила собой все. Пропадает грань между телом и душой, только зовы зеленой дали. И он идет, и так это необычайно, такая в этом

радость, хочется все приметить, все запомнить — на всю жизнь...

— Мальчик ты мой!

Издалека он слышит знакомый голос, не обознаться, с трудом раскрыл глаза. Над ним мать: она прижала его к груди крепко и гладит, перебирает его волосы. Деревья, — он не в комнате, а лежит в саду. Как попал? Где, куда скрылась лягушка? И даже не простилась...

Написано в шутку, сейчас после разговора по телефону с «сестрицей» Тэффи, ей на память о моей вчерашней рыбалке. —

РЫБАЛКА

Скажу прямо, парк Со, под Парижем, в нем — пруд чуть не с версту и шириной сажен на полтора. Глубь начинается сразу же здесь, от гранитного края. В пруду — карпы и карпики, а на граните — согбенные фигуры с удочкой, одна за другой вдоль по всему берегу.

Парк — величественный: деревья почтенные, но подстриженные, как старый лакей в ливрее, ранжированы в аллеи, карре и цирки.

Что ж — карп есть карп, а вздрогнувший поплавок всегда удар в сердце, будь это на берегах Иртыша или в парке Со. Я выбираю место, в середине между двух рыбаков; они сидят сажен на пятьдесят друг от друга.

Прежде всего рубашку долой, брюки подсучить до колен и тогда уж разматываю удочку. Рубашку положил на кустик, повиднее: мой сосед справа — типичный бродяга, еще слямзит... Сидит, голые коленки выше головы, на загорелом лице — брови и борода светлые, кустиками. Лицо красное до темноты, каленое, как медный пятак. Все-таки я люблю бродяг: что-то наплевательное в выражении их глаз, движения покойные — человек уверенный в прочности своего счастья. Бродягу я отличу с первого взгляда.

Направо тоже опустившийся, повидимому, интеллигент. Черный, худые лопатки торчат обрезанным крылышком, борода с сильной проседью. Сидит, тупо уставившись в воду.

Французы — европейцы, а среди них я, потомственный сибиряк, его челдонское благородие, а пожалуй, по виду более европеец.

Эти проклятые заграничные удочки и лески. Привык к удилицу из гибкого лозняка, а тут — складные бамбуковые солитеры. Непривычно. Леска — паутинка, а то ли дело: надергать из хвоста лошади волоса, потом на голой коленке, поплевав в ладонь, сучить: в два или три волоса, по какую рыбу идешь. Волос натуральнее и рыбу не удивит — может, лошадь купалась, и потеряла волосок, может, ветерок с берега замел в воду. Мне говорили — волос перепревает на воде в червячка, он глистой впивается в рыбу. Поплавок тоже не наш, не пробка, а какой-то раскрашенный карандашик.

А природа кругом старается. Солнце жжет городскую спину, по воде бегают на длинных лапках паучки, на лес и глядеть не надо: он весь опрокинутый в воде — заманивает на мечту.

Бродяга рядом настораживается, как крокодил, потерявший свою оцепенелость, — поплавок дернуло. Минута, и тащит из воды рыбину. Черный интеллигент, что слева, одобрительно крикает и подмигивает мне. Как видно, они — закадычные друзья.

Текут блаженные часы. Глаза слепит серебро воды, солнце покалывает иголками, в груди расправились все городские складки, пьет каждый вздох без остатка, все — в кровь.

Думается. Что может челдон думать в парке Со?

А если действительно бросить все? Соединиться с этими бродягами, сидеть изо дня в день на пруду,

ночевать под кустом, когда артели Бог пошлет удачу, распить вместе бутылочку?

По глади воды несет шершавые листья, сбросило ветром, плывут выводком утята, мимо поплавка, он, как буй в реке, — почему красное на воде так ярко?

Оцепенелая, распаренная мысль вяло погружается в тайну подводного. Что там под водой? Темный зеленый свет, прохлада, в илу ворочает мордой карп, как свинья в луже. Завел глаза — вверх что-то мелькнуло: «Ой-ой, — думает, — никак червяк? Съесть что ли?»

Рука протягивается к удилищу — у поплавка пошли кружки. Сомнение, надежда, радость, тупое отчаяние — раз! — карандашик, красный буюк исчез. Еще глаз не успел увидеть, — рука судорожно вскидывает удилище: кончик бамбука сгибается в кольцо, на воздух взвивается ошалелая рыба, летит по дуге согнутым пальцем и у самого берега шлеп в воду — сорвалась!

Стон отчаяния справа и слева. Рыжий бродяга кочевряжится от ужаса, интеллигент поднимается и идет ко мне, страдание написано на лице, изрыгает проклятия.

Меня заливают краской — Боже, до чего опустился, на глазах у этих несчастных европейцев так позорно спуделять, как мальчишка! Всему виной этот пружинистый бамбук — тронешь, а он взвивается стрелой.

— Ах, мосье, мосье, — вопят около меня бродяги (я украдкой на рубашку — цела-ли?), — вы, видно, дилетант (мне - то Боже!), нельзя так сразу, рыбу надо водить и тянуть, не спеша, постепенно.

К вечеру мы уж близкие знакомые, друзья. Это вам не город. И я знаю: если теперь встретить рыжего бродягу в городе, он сразу ослабится, глаза — добрые, и на последний пяточок потянет меня выпить

чего-нибудь. И для меня они — родные. Рыбалка сближает, — идем из парка, — бродяга, интеллигент и я, — чуть не в обнимку.

И что же оказалось: бродяга — не бродяга, а почтенный судья, а черный интеллигент — тот действительно заслуженный «байгуш», как у нас, в Сибири, говорили, а в России — «Спиридон-поворот», помните, мрачная фигура с чайником на боку, бродит по проселочной дороге от высидки до высидки, босиком, весь зарос бородой?

ДЕДУШКА ДИГБИ

Ведь о дедушке я еще не рассказывал?

Дед у меня особенный. Он говорил, что я пошел в него и выйдет из меня что-то замечательное: или путешественник или знаменитый охотник по уткам.

Дедушку звали Дигби и только потом по православному стал он Данила. По имени видно — сначала он был не русский, приехал из дальней страны. Приехал в Сибирь и сразу основал наш род. Отсюда мы все — которые настоящие нашей фамилии — и пошли.

Сидим мы, бывало, с дедушкой на берегу речки. Село со всем его шумом позади, а здесь тишина, покой. Река — лучше смотреть вдоль ее, тогда она большая — мирно течет. Небо наверху выцвело, а по краям синева свежая. На облака долго смотреть нельзя, спать захочется. Облако, пока на него глядишь, не двигается, а отвел глаза, посмотрел — оно уже не там. Если долго смотреть на небо, а потом перевести глаза на воду, то кажется, ты сам на небе, даже видно все вверх ногами. Или надо закрыть глаза и не двигаться. Тогда из травы выскочит на тебя зеленый кузнечик, качается на травинке и глядит, как ошалелый. Весь он сухой, кости да кожа. У меня раз случай был — лежу, а кузнечик глядел, глядел да скажни мне на руку. Тут бы подождать, что будет дальше, да я не выдержал, рассмеялся.

Сейчас смотрю, в траве пробирается гусеница со множеством ног. Каждую ногу она помнит и перебирает ими по порядку. Я показал дедушке:

— Гусеница.

И тут дедушка вспомнил, как у него, где-то еще на чужой стороне, пифон ручной жил. Пифон это то же что удав, только название другое. Пифона дедушка кормил только овощами и хлебом, поэтому он никого не трогал. Дедушка взял его маленьким, но он рос и рос, пока не умещался уж в комнате и пришлось построить ему отдельный сарай. Когда дедушка утром входил в сарай, пифон ему навстречу и получал каравай хлеба. После этого выводил он его на прогулку.

Выходили на улицу, и здесь, в пыли пифон извивался, делал петли, скачки или кидается к дедушке, вмиг опутывая его кольцом и лижет щеку. Кожей пифон присасывается к одежде, невозможно отодрать.

И вот случилось такое несчастье. Раз по улице ехал верховой, а пифон, на грех, пляшет. Уперся хвостом в землю и крутится так, что не видно головы, только свист идет. Попадись ему в это время на пути дом — разнес бы вдребезги. Дедушка очень испугался за верхового.

У меня дыхание перехватило:

— Зашиб? — спрашиваю.

Дедушка посмотрел на меня равнодушно:

— Нет, проскочил благополучно. Так ничего и не случилось.

Я хотел обидеться, почему не было несчастья, но не успел — дедушка вспомнил, как он тоже на одной войне был.

Шло, говорит, страшное сражение, кровь ручьями. Вдруг, как раз между враждебными линиями, собака гонит кошку. Дедушка не удержался, вскочил и кричит:

— Ату, ату!

Тут все рассмеялись, враги и свои. Кошка убежала, но настроение для войны было испорчено и все разошлись.

Нет, хороший был у меня дедушка. Сидишь и захочется хоть пальцем прикоснуться к его руке или незаметно подвинешься к нему. Дедушка тихонько погладит меня, а глазами будто ищет знакомое облако на небе. Глаза у него, как край неба — влажно синие.

Зато, что бы ни случилось, мы с дедом всегда за одно. Тогда даже бабушка не могла нас одолеть.

Сегодня на ужин для начала селедка и картошка в мундире. Дедушка увидел селедку и вспомнил, как он плывал на рыболовном судне. Поднялась раз страшная буря. Волны наворачивают с самого морского дна, паруса оборваны, мачта хрустнула, но еще держится. На палубе, как бешеные, катаются бочки с морскими котиками.

— У всех опустились руки, — говорит дедушка, — и только хотели молиться, как буря сама утихла. Тогда каждый занялся своим делом.

Бабушке рассказ не понравился.

— Тьфу, с твоими рассказами, — говорит.

А я, поддержать дедушку, так безобразно захохотал, что даже отец вступился:

— Ты чего?

**

Дедушка у меня был, когда я учился читать, но дошел только до буквы «мы». Дедушка сказал, что под конец будут «ксы» и «псы».

Я как-то и не помню дедушку до того лета, а когда дошел до «псов», дедушки уже не было. Запомнил, что дедушка всегда улыбался. Смеяться, это у него не было, но когда дедушка рассказывает, кругом все смеются. В чем тут дело — так и не узнал.

Не захворай дедушка, я бы перенял, как он рассказывает. Говорю как-то бабушке:

— Утром рубашку на левую сторону надел. Так и знал, что-то плохое случится.

— Ну? Что же случилось?

— Да нет, ничего не случилось.

За этот рассказ я получил подзатыльник.

Знай я тогда все буквы, я бы все за дедушкой записывал, сделал книгу, купил ружье и по уткам начал бы ходить.

**
*

Поздним летом ходили мы с дедушкой по грибы. Корзинка у него большая и я знал — пока не наберет с верхом, домой не пойдем. Гриб он никогда не вырывал, срезывал складным ножиком — этим самым он колол когда-то морских котиков.

День сегодня грибной — парит. В лесу уже по осеннему светло и под ногами шуршат коричневые листья. Если их намело кучей — я непременно шел на нее и шабаршил ногами, будто великан разметаёт гору. Пока дошли до грибных мест, попадалось много интересного. Вот с камня валуна сорвалась ящерица. Там дятел бежит вверх по дереву, на клюв наткнул шишку, сейчас возьмет ее под мышку и будет лущить. Попадались и потные места, нога тонет во мху. И только теперь я увидел до чего красива в эту пору осина. Ни одного листика не потеряла, они у ней ярко-красные, и все шевелятся, как живчики. Под березой пнул ногой по красной шапке мухомора. Дедушка несколько мухоморов положил себе в корзинку.

— Зачем тебе?

— Сахаром шляпку посыпать и на окошко в кухню — мух травить. А то в сиропе настоять да на блюдечко.

Подбирает дедушка мухомор и рассказывает, был он когда-то на севере, у дикого народа — коряки — видел шаманов. Шаман съест мухомор и скачет, как сумасшедший, пена изо рта, видения ему, прыгает, пока не свалится в судорогах.

Потом не до разговору, у вереска попались нам рыжики. Сырым его даже надкусить нельзя — щиплет, а соленый — увертывается от вилки, — вкусный бегаёт по тарелке.

Моя корзинка тоже с верхом, и мы садимся отдохнуть. Осенью в лесу всегда чего-то жалко. Дедушка охватил руками колена и покачиваясь туловищем, поёт нездешне, по-своему:

— Уай ай оу... грж втк оу... — кажется мне. Но голос у него жидкий и скоро обрывается. Дедушка вздохнул, пожевал травинку и вдруг около глаз у него опять морщинки сложились, как еловая веточка.

— Когда я молодой был, голос у меня — в Сибири таких и не видавали.

Я подвинулся ближе, сейчас будет рассказывать. И верно — как он в селе хор устраивал.

Собрал, говорит, я охотников... Не тех, кто хочет, а кто в тайге промышляет. Расчет на это был особенный. Сговорил на празднике показать селу охотничий хор — знай, мол, наших.

Тот день удался ясный, солнце в глаза щурит, собрались на околице и дедушка машет перед хором овечьими ножницами, показать где громче, где тише. Только этот раз ничего не получилось: в хор он набрал всех чохом, голоса хорошие, свежие, но лесные. Как хор взревел, баба какая-то с перепугу хлоп на бок, горстями землю и икает. Кто-то кричит, что его с души потянуло. Дедушка не растерялся, в толпу, да по за народом домой.

Очень, говорит, его благодарили за начинание.

У нас на престольный праздник была ярмарка, балаганы, народ гуляет. Пришли кучкой цыгане со

скрипкой и бубнами. Мы со всей семьей вышли на улицу смотреть как цыганка пляшет. Ох и ловко — подол метет землю, монисты звенят, плечами и грудками шевелит, проходит стукатком вдоль круга и нет-нет вздрагивает:

— Чтой ты, чтой ты, — бормочет. И когда дедушка, взявши за руку бабушку, шел из круга через народ, все расступались, как перед исправником.

Цыган пошел с шапкой собирать деньги и дойдя до дедушки, блеснул на него глазами:

— Гэ, молодым-то, поди, шибко плясал?

Дедушка только свистнул.

Вечером после одного грибного дня, вывалили мы с дедушкой грибы из корзинок на стол и начали разбирать. Грузди и рыжики отдельно, на соление, белый гриб резали на ломтики и нанизывали на нитку, сушить, а обабки и масляники на сегодня, жарить в сметане.

За ужином ели мало, ждали наших грибов, и когда полстола заняла шипящая сковорода, ударил грибной дух, все оживились. Дедушка ест и находит время еще рассказывать:

— Когда я встречался с краснокожими дикарями, всегда опасался есть у них. И все из-за этих грибов.

— Отрава?

— Еще какая: съешь и только через два дня тебя схватит и тогда пропал. Самое удивительное, что не сразу, например через час или два, а ровно через два дня. Сорок восемь часов, хоть по часам проверяй. А человек в это время живет, здоров, и ничего такого не думает.

— Мухомор что ли подмешивают? — заинтересовалась бабушка.

— Мухомор? — скривился дедушка и задержал вилку у самого рта. — Мухомор, если его правильно поджарить, я целую тарелку съем и ничего не будет.

— Я слышал, — говорит отец, — в жарких странах какой-то сморчок ядовитый есть.

— Ничуть не сморчок, а поганка такая есть, растет и у нас.

— Свят, свят, — округлила глаза бабушка, — да которая это, как она из себя выглядит?

Дедушка описал: шляпка грязно-зеленая, испод как рыбы жабры, только белые. Немного на гриб синюху похожа.

— На ножке еще полоски кольчиком идут? — догадалась бабушка и отодвинула тарелку.

— Они самые, — кивнул дедушка. — Вот на такую сковороду хватило бы полгриба — что я говорю — четверть гриба, и готово. Сегодня что, — пятница? Ну, значит, в понедельник всей семьей снесли бы на кладбище.

— Ах, что вы, папаша, — рассердилась мама, — всю жизнь ела грибы и ничего не было и даже не слышала никогда такого случая.

— Да я ничего не говорю, — отвечает дедушка, прожевав грибы, — все от случая. Недосмотр, конечно, всегда может быть.

Много позже я узнал, это была самая удивительная история, рассказанная когда-либо дедушкой — всё до последнего слова оказалось правд а ! Может насчет дикарей только не совсем точно. А у злосчастной

поганки название самое благородное — аманита. Вот так даже с грибом, если по имени только судить, можно жестоко ошибиться.

**
*

Что еще рассказать о дедушке? Сразу всего и не вспомнишь. Вот самое главное:

Дедушки в эту зиму не стало, а я рос, родители на меня радовались, пока я не вырос. А так больше ничего и не случилось.

Л Е С

— Вот, Федька, подбросили тебя отец с матерью ко мне, в город уехали, а теперь самому мне место вышло: прежний лесник со сторожки ушел, надо мне в лесу зимовать.

Федька потянул носом, искоса поглядев на деда.

— Едим прошенное, носим брошенное, не такое наше положение, чтоб от места отказаться. Придется тебя пока что в люди отдать.

Мальчишка ковырнул шилом — чинит валенки — с народной грубостью бросил:

— Ни в какие люди не пойду. Отец сказал, с дедом пока будешь — вот я и буду с тобой.

— Что ж, ты в лес со мной зимовать пойдешь?

— А пошто нет? И тебе веселей.

— Так то оно так, только мал ты, вроде для леса. Будь тебе хоть пятнадцать годков, еще куда ни шло.

— Ты в обход, а я, смотришь, обед сварю. Силки будем ставить.

— Да ты знаешь, дурья твоя голова, что такое сторожка? В самом лесу, верст двадцать от жилья. Ни прохода, ни проезда. Не дай Бог что случится.

— А если с тобой что случится, а ты один?

— Что ж ты мне — поможешь? Эх, не знаю уж...

Дед задумался. Взял армяк, затынул подпояску и вышел из избы.

В лицо рвануло октябрьской сыростью, ветер полез под армяк. Сквозь непогодь чернеет лес, кажется зловещим. День темный от низких туч. Дождь не пря-

мой, а то справа, то слева. До чего сейчас жутка лесная жизнь.

«Хоть кричи», — подумал дед.

Вспомнил о сторожке. Был там раз, лесник жил в избе опотолоченной, но без крыши. Как то теперь? А Федьку придется, пожалуй, взять.

**
*

Для Федьки больше всего удивления в лесу — воздух. Редкий, все четко, каждую весточку как к глазам поднесли. Гул, запах хвои, дерево кланяется макушкой, нога тонет в подстилке хвои и мху. Из сторожки кажется, что они на мельнице — вот так же и вода шумит.

Хорошо в лесу. Никогда у Федьки такой жизни не было. Дед в обход, а Федька варит картошку, чистит тетерева, управился — опять в лес. Стоит у сосны, жизнь остановилась, глаза раскрываются все шире и шире. Сквозь прорези веток — небо. Вон сверкнуло, ровно рыба в воде, — птица повернулась по ветру.

Пришел дед с обхода, Федька бросается к нему, не зная как вылить накопившееся за день:

— Ну ты, дедушка, дедушка...

**
*

Вот и зима. Листья опали, хвоя поредела, в лесу стало светло. По кустам гонит белым — поземка. У оврага слоистый серый наст.

Дед сделал Федьке лыжи и с Жучкой можно уходить далеко. Смелости прибавилось — есть след, не заблудишься. А дед все в обход и считает деревья. Вечером вынет засаленную книжку и мусоля карандаш, пишет туда цифры.

Жучка спит теперь в избе. Ночью Федька иногда поднимается и, прислушиваясь к гулу леса, припадает

к окну, продышит ледышку и глядит в таинственную, белую лунную муть.

Утром, только заиндивелый свет в окно, дед уж поднимается, раздул огонь, ставит котелок с водой. День начался.

Сегодня, сварив обед, Федька пойдет с Жучкой в лес. Он тоже лесник — отмерит себе участок и будет считать деревья: сосны столько-то, кедру столько, лиственницы нет и зеленого леса — не считал.

Вышел Федька из избы — чуть с ног не свалило. Ветер колючий, лес не гудит, а ревет, в двух шагах ничего не видно.

— Дедушка, ты сегодня не ходи — пурга!

— Что ж, не впервые. А разленишься, дашь себе волю, так и в хорошую погоду не выйдешь.

— А вдруг заблудишься?

— Я-то? — дед засмеялся. Туго обматывает шарф поверх воротника шубы. — Нет, внучек, такого со мной не было. Но что верно, то верно — схожу на пятый номер и довольно. Засветло пойдем с тобой еще силки смотреть, если распогодится.

В избе сумрачно, снег залепил окошко, и Федька сидит теперь, как в норе. Раздул огонь, но вьюга ахнула, огонь опрокинулся, чуть лицо не опалил. Становится страшно. А вдруг дед заблудится? Чего он, право, пошел! Верно отец говорил — упрямый.

— Ну ты, лезешь тут! — толкнул Федька собаку, сунувшую было морду в котелок.

Снаружи доносятся тупые удары, шорохи — Федька понял: дед вернулся, откапывает дверь. Федька подпер дверь плечом, понатужился и раз — дед ввалился в избу.

**

Вышел Федька во двор — нет пурги. Пронеслась, напугала — а сейчас праздник: солнце во всю, снег

блестками, лес оглаживает свою седую бороду и ласково гудит.

Скорей поесть и пойдут с дедом силки смотреть. Жучка выскочила за Федькой и постояв у крыльца, оглядывается: след четырех лап в снегу, сбоку желтая проточина — неужели это она сделала? Надо понюхать.

Федька забирает лыжи в избу, охотничье сердце частит — что-то Бог сегодня пошлет? Вдруг лисицу — вот здорово!

Дед сидит на лавочке, обтирает тряпкой самопал.

— Пистрицкий? — спрашивает Федька, чтоб доставить удовольствие деду.

— Персидский. Вишь казна в серебре — теперь таких не делают. Харчистое ружье.

Дед любовно поглаживает самопал.

— Вот умру — твой отец, Петря, получит.

— А можно, деда, мне раз стрельнуть?

— Мал еще. Это ружье самой знаменитой отдачи — редко кто на ногах выстоит. Как стрелишь, весь день плечо зудит. Ну, что ж — пойдем, что ли!

**
*

Между облепленных снегом елей, мохнатых сосен и величественных кедров в лесу скользят трое: впереди дед, борода в сосульках, за ним по готовой лыжнице Федька — щеки сейчас лопнут от красноты — позади семенит Жучка. У деда на шапке знак: две дубовые веточки накрест, — лесник, лицо казенное. Страшный самопал на полусогнутой руке. Федьке жарко, развязал уши шапки, они висят чуть не до лыж.

В лесу мертво и глухо. Утренний снег лежит на старом, как молодой пух. Иногда с лапчатой ветви скользнет большой ком и в воздух взвивается бриль-

янтовая мелочь. Вверх взглянуть — нежность белого и голубого: снег на деревьях и небо.

Притомились. Дед высмотрел поваленное дерево, свернул к нему, садятся отдохнуть. Федька подышал, губы трубочкой — видеть, сколько в нем пару — и вытащил из кармана рябчиковую дудочку. Попищал, но ответа нет.

— Уж больно тихо, — вполголоса говорит Федька, пораженный тишиной. — А что, деда, медведи здесь водятся?

— Водятся, только зимой медведь спит, лапу сосет.

— А твой самопал одолеет медведя?

— Насквозь пронзит, — убежденно отозвался дед.

Опять молчание, неподвижность кругом. Жучка поводит боками, глаза в даль.

— Пошли, деда?

— Погоди, что-то ноги гудут. Должно ночью опять буран будет. Вот ты, Федька, хотел лесником быть, а какое различие у пихты или сосны?

— Ну, поди видно.

— Ничего не видно, если не знаешь. А ты запоминай. Вот ель — шишка у ели длинная, вислоухая. А возьми пихту — шишка стаканчиком, стоячая.

— А сосна?

— Сосна, у ней шишка востроносой шапочкой.

— А у лиственницы я сам знаю — шишка шариком, мелочь.

— Ну, надо идти, — встает дед.

Пошли, но Федька наехал лыжа на лыжу — засмотрелся на шишки.

**

Назад идут с добычей — две куропатки из силков. Лисица не попалась.

Шли по старой лыжнице, но начало мести, потеряли, и теперь опять целина. Дед часто останавливается — отдышаться. Стоит, прислонившись к дереву, как-то горестно глядеть на сосны, снег, румяные щеки Федьки.

В избу пришли — неуют выстуженного жилья, темнота углов, пепел заглохшей печки. Окошко, как черное зеркало — в лесу уже ночь.

Жучка перед печью, смотрит на огонь. Прищурила глаза и затихла. Федька, управляясь с котелком, снял валенки, растирает ногу. Дед на лавке, уставился на огонь, не шелохнется.

— А почему ты лисий капкан пихтой натирал, деда?

Еще минуту не может оторваться от огня дед и, наконец, поворачивается к Федьке:

— Потому, — железо пахнет. Лиса чувствует железо.

— Попадется она нам когда-нибудь?

— Попадется. Вот зря Жучка к нам присообщилась. Собака не охотничья, невежливая — набросится, всю шкуру испортит.

С мороза Федька разомлел, едва кусок проглотил и повалился.

**
*

Снятся Федьке шишки — вислоухие, стоячие, круглые, всякие. Будто дед сосчитал шишки и записывает в свою книжицу. Сложил шишки горой и из пистрицкого самопала стрельнул: пуля насквозь и из горы пламя. Федька удивляется — пламя бывает красное, а тут белое — белое, а кругом все голубое. Выскочила лиса, покрутила мордочкой и к капкану. Понюхала и отвернулась: «не годится, железо». А дед стоит у сосны, глядит на лису, а из глаз слезы. Так и сыпятся горошинами, замерзают на бороде.

— Деда! — позвал Федька.

Открыл глаза, а дед и в самом деле сидит около, смотрит на него. В печке треснуло полено, осветило избу и красный свет побегал по бороде деда. За стеной рев пурги, вой, а лес прорывается через вой — гудит.

Федька поджал коленки к подбородку, потянул носом и пропал во сне до утра.

**
*

С дедом сегодня повздорили: буран метет, а он опять в обход.

— Какой ты упрямый, дед!

— А ты мал, мне такие слова говорить. Останови свои строптивые чувства. Вчера тебя послушался — тоже не пошел бы. Лесник не только, чтоб по солнышку. Погода — она разгуляется.

— А ноги-то, поди, гудут?

— Этими ногами, внучек, не одна тысяча верст исхожена. Подальше сходить, поближе возьмешь — вот оно как. Никто не скажет, что дед здесь на печке лежал, даром денежки шли. Ну, пошел.

Дед двинулся к двери, Жучка завертела хвостом.

— Деда! — крикнул с лавки Федька.

Но дед не расслышал: в дверь рывкнул буран, взметнул огонь в печи и заполнил все ревом, пока сразу не оборвалось — дед с той стороны прижал дверь.

Федька отколупнул льдинку с окна, но за стеклом плотный войлок снега, ничего не видно.

Картошка переварилась, ткнул палочкой — сразу насквозь, от куропатки одни волокна — а деда все нет.

«Вот упрямый!» — сердится Федька.

Полез в сумку к деду, достал книжицу, смотрит на цифры. Ничего не понимает, спрятал, вынул пузы-

рек. Понюхал и глазом на свет — водка. Хорошо деду выпить сегодня. Вверху окошко оттаяло, там только мокрота. Федька потер влагу пальцем и помазал руку — пот с окна хорошо от бородавок...

«Куда же дед запропастился?»

Вспоминает, вчера он был на пятом, сегодня пошел должно быть на шестой — дорога дальняя. Вчера дед все норовил отдышаться — идти-то ему нелегко.

Но вот Федька потерял всякое терпение, оделся и вышел на крыльцо. Буран, слава Богу, стих, но намело — горы.

И вдруг — заплакал. Вернулся в избу, огляделся и завыл. Слезы текут, попадают в рот, он их глотает, рев все сильнее и сильнее.

Жучка встала на четыре лапы, поглядела на лавку — лежит Федька, голову во что-то уткнул, плечи трясутся и только слышно:

— У-дедушка-у-у.

Федька проснулся как от толчка — лежит одетый, в печке краснеет оставшийся уголек, на полу белое пятно лунного света.

Вскочил, протирает глаза. Ночь. Нет больше надежды.

Вышел во двор и задохнулся: звезды яркими огнями, небо черное, а над лесом плывет необычайная луна — яркая и около нее радуга и кресты.

Лес, изба, мальчишка в нахлобученной шапке, около него собака.

**
*

Проваливаясь в сугробах, Федька пошел к плетню. Вышел за ворота, уставился в темень леса. Снял шапку, перекрестился:

— Упокой, Господи душу. Дедушкину душу Господи, Богородица...

Слов больше нет.

Возвращаясь к крыльцу, видит Жучку: морда чужая, в глазах огоньки луны. Жучка тихонько воет.

— На свою голову! — сурово произнес Федька и входит в избу, забыв впустить Жучку.

Засунул большое полено в печь, подвинул обрубок дерева — вместо табуретки — сел прямо в шапке, устался на огонь. Очнулся от царапания когтей — Жучка просится. Впустил не глядя.

Сидит и думает.

Оглянулся на Жучку — она подошла к дедушкиной постели, понюхала, и шерсть — показалось Федьке — взъерошилась и в ней синие искры. Поджав хвост, Жучка прошла под лавку и спряталась в темноте.

У Федьки горячая волна к сердцу — Жучка тоскует. Он кинул под лавку кусок хлеба, заглянул, но Жучка не трогает.

**
*

В ту ночь луна осветила мохнатый лес, сторожку где в окне играет отблеск огня печки.

Взглянула и на бугор снега, под которым лежит дед. Не смог отдышаться. Присаживаясь знал что это конец и если бы не последняя дума о Федьке...

Где-то далеко — разбросанный костер на поляне — светится город. Там Петря, отец Федьки, пишет деду письмо, отправить эту зиму Федьку в школу.

А лес, темный лес, поет, охорашиваясь.

**
*

Весной лес загулял, развеселив всякого зверя, птицу, подумав о каждой травке. Снег остался только пятнами. Из сторожки вьется чуть заметный синий дымок.

От этого дымка, видимого далеко через прогалину леса, захолонуло сердце матери:

— Петря, живы они!

И вся тревога за Федьку, за деда, тревога, что нарастала с того часа, как деревня встретила их страшной новостью — «с осени вестей нет» — вылилась в слезах:

— Петря, ох, Петря...

**
*

Поздно вечером, уложив Федьку — сухого, косматого, глаза непонятные, свой и не свой, — отец и мать вышли на крыльцо. Сидят, не в силах проронить слова.

А Федьке снится сейчас еще зимнее—

Ель в путаных сединах машет лапою, синий полог неба над лесом — там сверкнула крылом птица. Гул, прикрывающий молчание леса, прозрачный воздух, налитый хвоей, все, что навсегда останется в непонятных таежных глазах сурового теперь Федьки.

ЦАРСТВО ВЛАСИЯ

Хорошая музыка — и на душе благостно. Пройдет волшебство и опять серые тени, скука неодолимая, неодолимое бытие и колючесть только сейчас еще сиявших глаз. Хрупко минутное счастье и непрочно память о нем.

Я завидую музыкантам. С детства быть в стремлении к возвышенному. Приказать себе, и в душе звучит музыка. Завидую им.

Гляжу сбоку, отодвинувшись в темноту, на лицо бродяги. Он неотрывно смотрит в свете костра на омуты в черной воде Енисея. Река в ночном безлюдьи, чуткие звезды, чешуйчатая дорожка луны, черные зловещие воронки в воде. А днем мы молча плыли, бросивши весла: река стоит, а дерево на берегу бежит в противоположную сторону. Тогда бродяга был тоже необыкновенно задумчив. Я не мешал.

Когда в тайге остановишься и оглядываясь кругом видишь себя маленьким, затерявшимся, но безмерно счастливым — что это?

Там, однако, тайга, Енисей, а здесь владычество разума, город. Но зато здесь есть музыка — в ней омуты, звезды, земля, уснувшая память веков, предвещающие времена, влажная синева неба.

Для людей я хотел бы вымолить у Бога — быть мне композитором. Не для славы и гордости. У меня есть симфония, ее только записать и она привлечет всех. «Царство Власия» имя моей симфонии. Литавры,

подземный гул барабана, трамболист, вдруг сверкнувший медью кулисы, — душу вырывает из космической темницы, возносит в астральную высь, рвет земные пути. В эти звуки я вкладываю крепкую веру в мое кровное родство со всем живущим. Моя смутная тоска изливается в любви к бессловесной твари и нежность заливаает меня, когда я сжимаю косматую лапу зверя. Заглядывая в глаза, я разгадываю начало мысли, скрывающееся там. А в оркестре бородатый Власий, покровитель животных, уж торопит скрипки — волна их все выше и выше.

«Малиновые горы, голубая река, лесная царевна с синими кругами у расширенных глаз, когда-нибудь человек не будет одинок — найдут знак звериный», — повторяю я.

«Человек, не вознось над животным», — шепчет около старец Зосима.

Передо мною золотая белка, она подхватила себя под коленки и скачет по одеялу. Волосок к волоску лежит примоченная гривка убранной лошади. Мальчишка от радости повис на моих ногах...

**
*

Власий, прости, сегодня не одиннадцатое февраля, а я тревожу тебя. Но в тот день — твои именины — ты все равно занят, несут к тебе кропить святой водой — больная кошка, захудалая собака, жалобно блеющая овца, ученый скворец, теленок с тоскующими глазами. Мы — простые — так долго ждали этого дня и столько у нас упований. Бабка, кофточка мелким горошком по черному полю, мальчишка в отцовской шапке и сам я — опять застыдился людей, за пазухой у меня трясется в чахоточном ознобе обезьяна.

Я знаю, Власий, в этот день тебе поспеть повсюду. Ты и в дальних странах, там ты без бороды и зовут

тебя Сан-Блэз, но я узнаю тебя по глазам и гудит перед тобой площадь святого Марка — лай, бляение, кукареку, всем надо чтоб капля святой воды попала и на их зверя.

Ты можешь умолить, Власий, и на меня снизойдет сила — моя первая симфония. Для начала... лошадиная. Ты ведь знаешь: взгляд на спокойное око гнедого коня и все глупости из человека вон, — фальшь, поза, нескромность.

Пусть начнется неожиданно просто, как шум жизни.

Москва, Ходынка, несметные толпы на трибунах, головы игроков даже за забором — там взгромоздился на принесенные с собой стулья и табуреты бедный, но горячий народ, любители конских бегов.

— Кто на зеленого играет?

— На этого мы поставились. Даеть на шоколадного!

— А я на того, камзол радостного цвета.

Разгоряченные на пробежке, пламенное око, нервная дрожь, толкая друг друга, лошадь к лошади — живая линия на черте. Взмах красным флажком, удар колокола — понеслись.

— Полосатый третье место теряет.

— Небойсь, — темнит, заманивает.

— Петров-то молодец, ленточку занял, ишь у самого барьера.

Горячее дыхание толпы, сердце рвет на части — последняя четверть круга.

— Сашенька, милый, золотой, не выдай!

— Ваня, давай, давай!

И вдруг кто-то согнулся вдвое, застонал — Петров, шедший вторым, засбоил.

— Жулик! — ревет сотня глоток.

У разъезда толпа извозчиков со всей Москвы. Ванька нахлестывает мерина — сразу не стронуть, на пролетке восемь игроков.

— Я на буромариновый камзол ставил. Как увидел у него на седелке седьмой номер — сердце екнуло: он.

— Я на Затейкине сто в ординаре схватил.

Спиной к лошади на пролетке толстый, лицо как после бани, в глазах тоска. Смотрит на уплывающих вздыбленных бронзовых лошадей у входа на трибуны и вздыхает.

— Ваня, ты что сегодня — пешком? — высывается из кучи седоков голова в сторону пешеходов. Кто-то мрачно махнул рукой.

Долго разъезжается и расходится несметная толпа. Пусть через игру, но лошадь вошла в жизнь каждого из них.



Аллегро, пиччикато — Власий улыбается, сивая борода шевельнулась. Он любит толпу и за этим шумом жизни уж слышит запах конюшни. Музыканты сложили руки, лишь две-три скрипки зазывают простеньким напевом и незаметно покрадывается тра-та легкого барабана.

У подъезда ечкинская тройка, затягивают полость, рванулись кони, Тверская застава встречает метелицей. Тра-та-та, — барабанят о передок ошметки с копыт лошадей. Ззз — рвет встречный ветер, и острые льдинки снега впиваются в лицо — хорошо, откинув край башлыка, вдруг выставить лицо на мороз. Около важный барин прижал бобровый воротник и нежится в надышенном тепле.

Мелькнул справа, как корабль, освещенный огнями, Яр, близок Петровский дворец, резкий поворот и озверелые кони осадили во дворе Стрельны. В три

этажа высится освещенная изнутри оранжерея-ресторан. Тысячелетние карликовые сосны, мощные пальмы, японские уродцы, чудеса из Австралии, Африки, Южной Америки и цветы, цветы повсюду.

Диковинное заведение устроил Натрускин — редкостный, бесценный сад и в нем гроты — отдельные кабинеты. В проходах бьют фонтаны, ручьи, водопады, огромные аквариумы, в них плавают усаые рыбы, сверкая своими серебряными и золотыми ризами. Между пальмами китайские фонарики. Стонет скрипка в спрятанном где-то оркестре, толпами ходят яркие цыганки в богатых шалях, выхолненные слуги во фраках, величественный метрдотель.

Сегодня Благов оmyвает копыта своего Агата и в Стрельну приглашен необычайный народ — рядом с купчиком наездник, вельможный князь и бедный студент, блестящий гусар и тренер, тотошники, жокеи, жучки.

Рассказывают про Агата: в стойле холодная и горячая вода, огромное трюмо в рост и длину лошади, стены в кафелях, дежурные конюхи, ветеринары и над ними сам Тоболкин, знаменитый лошадиный врач. Необычайно содержат Агата: сено заготавливают где-то на Финляндских озерах и везут даже с острова Эзеля, к овсу примешивают петрушку с Кубани, обязательные две бутылки боржома, морковь с Алтая, Сакские и Майнакские грязи для ног, мазь протирать сухожилья после бега.

Нет славного, на которого не родился бы еще более славный — зашаталась слава Крепыша. Да и довольно, старик, дай дорогу молодым — восемьдесят раз выступал во всех столицах, пятьдесят шесть первых призов, груды золота для владельца. Из недр лошадиного народа идет на смену новый — Агат. Всего шестьдесят тысяч заплатил за него Благов, но когда

на пробежке пускали секундомер, глазам не верят, невероятно — сорок секунд на километр!

Шумит пьяная Стрельна, хмурится на морозе Влаший, с усмешкой глядя на сумасшедшую затею Натрускина и жалостливо — на кафели и трюмо Агата.

Шире скрипки, гневно гудит контрабас, звенит медь труб.



И уносит музыка в другой край.

Потянул со степи предутренний ветерок, проснулись птицы, грызуны ушли в норки, наступает утро. Небо стало выше, из сиреневого перешло в бледно-зеленый. Сейчас, перед началом дня, особый, крепкий воздух, его не забыть весь день. Расплавленным металлом вспыхивает облако и вдруг выплывает языческое солнце — большое, горящее изнутри. Залепетали, защебетали кругом маленькие солнцепоклонники — птичье царство — кинулись проживать новый день.

Такое утро встает над конным Хреновским заводом. Слышится нежное ржание матки, задорный тенорок взлягивающего жеребенка, басистая труба взрослого коня. Целый конский мир — лучшие из лучших, совершенные и неповторяемые — этот мир живет ощущением друга-человека. В перегородку сыпятся удары копытом нетерпеливого жеребца, молодняк столпился у засова, стригут ушами — вдали шаги людей. Доносится запах хлебного варева, душистого сена, ячменя и овса. У-гу-гу! — покрывает все залиvistое ржание белоногого подростка.

Идут конюхи, ветеринары, заведующие, рабочие. День начался. В душе правильное, должное и все пропитано любовью. Отсюда эта безмятежность, ясность на лицах, спокойная радость предвкушения грядущего хорошего дня.

— Ну ты, балуй! — кричит конюх, похлопывая любимицу по крутой шее.

— Тише, тише, дружок, — в другом загоне бормочет Васька-уборщик. Хозяйственно осматривает Васька лошадь, и в душе у него такая полнота, что когда лошадь, шая, толкнула его сзади мордой — Васька пропал: ничего не помнит от умиления.

Тем и хороши просторы Хреновского завода, можно потеряться, поговорить с лошадьми, чтоб ни одна душа не знала. Но не тут-то было — Васька оглядывается на подозрительный шорох и видит Мишку. Мальчишка в рваном картузе, босой, посконная рубаша, на локтях разноцветные заплаты. На морде у него страх, мольба, униженная готовность на все.

— Опять ты здесь?

— Дядя Василий, так ведь я...

— Сказал тебе управляющий, не смей шлаться?

— Так что управляющий, дядя Василий? С вами, дядя Василий, управляющий ничего не скажет. Он очень уважает вас, дядя Василий, сам говорил мне. Да и не увидит он...

И только Васька пробормотал: «ну, смотри, парень», Мишка уж проскользнул в дверцу, воровато улыбается и идет к кормушке. Лошадь покосилась, втянула воздух и слегка ударила копытом землю.

«Узнала», — поет в душе Мишки, и он норовит стать перед лошадью так, чтобы в глазах ее увидеть себя. Мишка лезет под брюхо лошади, убирает веточку, недосмотренную дядей Василием.

**

Уже поздно, скоро конец утра — седьмой час, молодой ветеринар протискивается в загон к молодняку. Длинноногие, разрез глаз как у восточной красавицы, жизнерадостные, доверчивые, жеребчики звездой

окружают пришельца и без стеснения подталкивают — где же сахар? Этот положил ему голову на плечо, а другой просунул голову под руку. Шелковистые, нежные губы ходят по ладони, забирая крошки. Который-то ухватил сзади за пиджак и тянет, у этого уши на макушке, а тот в избытке радости сиганул козлом.

На километры тянется хреновская держава — стойла, загородки, загоны, каменные постройки, навесы, выгоны, беговые дорожки. Все предусмотрено — детский дом, подростки, холостые, матери, роженицы, недомогающие.

У одного выгона ветеринар задержался. Стоит боясь выдать себя, на лице широкая улыбка. Там пасется карий жеребец и около него скачет собака. Конь кинулся за ней, та удирает и отбежав, припадает на брюхо, хвост радостно метет землю, в глазах восхищение. Конь отходит, и будто забыв о собаке, щиплет траву. И вдруг, прижав уши, оскалив зубы, кидается на притаившуюся собаку. Та с гавканием улепетывает. А, вот верно — забыл, пасется. Собака вызывает на игру лаем, и не дождавшись, катается перед ним на спине, лапками вверх.

Святой Власий, что за чудеса в твоём царстве!

Ветеринар знает эту собаку — она разыскивает своего друга по стойлам, ночует около него и конь выбрасывает ей из кормушки сена на постель. Ветеринар не удержался, свистнул, и собака заметалась между ним и лошадью, зовет своего друга вместе подойти к человеку.

**
*

Помните, мировой конь Крепыш, брал призы в Париже и Лондоне? Тяжело было глядеть на него последние годы. Стоять не может, висит на подпругах, шерсть повылезла клочьями, глаз тусклый, устал, ест только хлебное пойло и овсянку.

Крепыш, Крепыш. Завершен круг твоей жизни, огрелась слава, потухли желания, ничего больше не надо. Скоро кости твои смешаются с землей и не было тебя.

Умер ты все-таки непобежденным, Крепыш. Красавец Агат на пробежке сломал ногу, так и не выступил. Слава, случай, удача, восторги толпы — что в этой игре, если есть смерть.

Молодой конюх почтительно смотрит на славную развалину и впитывает последние вести о нем, — старик около рассказывает:

— Подкупили наездника Кейтона и он дал обогнать себя на Крепыше какому-то метису — Дженера-Эйч.

— Золото, деньги, — с презрением говорит парень.

**
*

Скрипки стихают, дают дорогу нежной флейте. Власия не видно, но он где-то здесь, это заметно по лицам музыкантов. Я наклонился вперед, слушаю напряженно.

От стойла к стойлу, по выгонам и переходам идет сердитая Марья — черная юбка, белая кайма. В руке у нее узелок с обедом.

— Митрий, — вскрикивает, найдя кого надо, — ты ошалел, из конюшни тебя не вытащить! Люди как люди, а мой днюет и ночует здесь. Таскай ему еще обед сюда. На, дурной!

Митрий потерял человеческий вид — глаза чудные, язык не ворочается, слова не дождешься. Развязывает платок, принимается за еду, не слушая воркотню Марью.

— Верно говорят, — не унимается Марья, — чужой дурак смех, а свой — горе.

— Это куда? — вдруг взвизгнула, сцапав за руку Митрия, он хотел припрятать кусок хлеба для лошади, — ешь тут же!

— М-м-м, — мычит Митрий, но забоялся бабьего крика, ест ворованный кусок.

Флейта оборвалась на высокой ноте, как бы показать мне в провале звуков: — раздражительный старик, брови грозно нависли, придумывает «Холстомера». Другой водкой залил писанные листы, взгляд дикий, волосы взлохмачены, ломая от волнения перо, выводит — «Изумруд». Очарованные странники.

**
*

В оркестре разливанное море звуков. Меня несет, будто я бросил весла, лодку мчит Енисей. Здесь то же, что было там — душа обмирает, мыслей нет, дерево не уставая бежит по берегу и голова у меня кружится.

Я вижу бешеную тройку в колеснице Ильи пророка, молочно-белого красавца под Георгием Победоносцем, лошадь-льва Ильи Муромца. Холстомеры, Изумруды, Крепыши, Агаты, крестьянская лошадка, сердитая киргизская, мохнатая сибирка и забалованная татарская кормилица.

Какие-то могучие голоса поднялись из оркестра. Грозный Апокалипсис и конь вороной. Власий сияет тихим светом, рвется небесная завеса, и он падает на колени, лицо к небу. Позади его лошади, собаки, кошки, мыши, ежи, медвежата, обезьяны, — тьма бегущих, скачущих, ползающих, летающих созданий. Власий показывает на них и взывает:

— Сколько любви людской собрали для Тебя эти бессловесные твари. Сколько доброты в людях пробудили они!

Набирайте полный голос скрипки, гремите литавры! Человечица, не стыдись, слезы твои падают на

шелудивую собаку, ты целуешь ее, — становись на колени рядом с Власием! Седой ученый прижимает к лицу котенка. Ребенок плачет над заболевшим снегирем.

Набирайте полный голос скрипки, гремите литавры...

**
*

Контрабас зажат между колен, музыкант утирает влажное лицо. Усталый скрипач опустил скрипку. Тяжело переводит дыхание дирижер.

Боже, почему я не между ними! Здесь, касаясь их, ходил Власий, взмахивая рукавами старенькой рясы. Его добрые глаза сияли.

Они, музыканты, — видели и осязали. Они знали, что играют все о том же вечном — нашем стремлении к чистейшей, жертвенной, бескорыстной любви, — знак Божий, приметный на каждом.

И СОТВОРИЛ МИР

Леониду Галичу.

Не сущее, а роды сущего. Не человека, а род человеческого сотворил Господь. Любимую его землю может населить только вечное — род. Обновляющемуся, бессмертному роду существовать на земле через личность, обреченную на страдание и гибель. Идущий на смерть радуется последнему солнцу, но знает куда его ведут.

Во имя неиссякаемого притока духовной энергии и непрерывного совершенствования, мир по другому не мог быть устроен.

Роду — бессмертие, личности — смерть. Условия моего бытия мне известны, существование мое во времени ограничено пустяком, дела мои скоропроходящи — да будет так. Но почему мне дан разум для осознания моей горькой доли?

Нет тени без света! Мне что-то дано взамен. Я ищу.

Он убедился, что в земном смысле его вообще не существует. Он пьет и ест, общается с другими, страдает, радуясь, имеет свое имя и все-таки его — нет.

Когда он понял это — охватило блаженное спо-

койствие. На мир и себя начал смотреть созерцательно, со стороны — еще одно доказательство, что его нет.

**
*

— Послушай, — говорю я своей жене, — если бы любовь между мужчиной и женщиной была так же проста, как еда — никакой тайны, просто открыто — тогда не существовало бы, по крайней мере, чувства, что нас кто-то обманывает, разыгрывает из нас дурака.

— Да, но жизнь-то стала бы серой, бесцветной.

— Почему же существование матери в ее любви к своему ребенку, не серо? Значит кто-то достиг своей цели и успокоился, отпустил свою жертву.

— Допустим, ты прав: инстинкт размножения играет человеком. Но через это существует искусство, личное совершенствование, подвиг, самопожертвование — все, что облагораживает жизнь.

— Да, конечно. Только зачем все это уж очень откровенно подстроено? Это оскорбляет достоинство человека?

Жена молчит, тема ей не нравится. Я сижу на стуле, руки сложив ладонями, зажав их меж колен. В окне серая мгла — наносит снежинки, они прилипают к стеклу и скоро исчезают — будто я недоглядел, чья-то рука успела снять их. Вспомнилось самоубийство товарища, а перед этим его жгучие муки ревности. Загубленная жизнь друга.

Что-то долго не дают свет. В комнате полумрак, хотя белые стены и смягчают.

Скука. Но это только всего и значит, что я не в ладах со временем. Скучно всегда, когда начинаешь замечать время. Жалко, у меня отобрали бумагу, это надо бы записать. Я бы так оформил: «движение и

время можно не замечать. Но как только резкая остановка или поворот — сбрасывает с места».

*
*
*

Кстати о времени. Почему оно течет? Куда, откуда, зачем? И оно не проходит мимо меня — я несусь с ним, не могу ни отстать, ни вырваться из этого потока.

— Послушай, — обращаюсь я опять к жене.

— Что еще?

— Ты знаешь, что настоящего времени не существует?

— Опять философия?

— А будущее недоступно. Мы живем, значит, только прошлым. Мы плывем на плоту, лицом назад, нас влечет куда-то и мы не можем повернуться, чтоб увидеть мимо каких берегов понесет нас сейчас или не разобьется ли наш плот сию минуту. Во всем есть цель, и я спрашиваю — почему нас посадили на плот именно затылком наперед? В чем отгадка? Я делаю такой вывод: раз мы осуждены видеть только прошлое, то Провидение имело в виду, что память — это и есть главное нашего существования. Люди должны накапливать память для рода. Надо жить только памятью.

— Нужно себе сказать: не «мыслью — значит существую», а «помню — значит существую». Жить памятью это значит жить в искусстве, науке, непрерывном созерцании и памяти чувства. Надо уметь собирать и чужую память. Когда в произведении спрятана память миллионов людей, то произведение прекрасно, вечно.

Я обрываю себя. Ну, как я скажу, что время, энергия и материя — все это одно и то же? Моя мысль — это время. Духовная жизнь — вот что реально, что никогда не может исчезнуть. Время — память. Если бы меня память записала хоть маленьким служкой.

Ловлю на себе встревоженный взгляд жены. Усмехаюсь.

— Ты права, не стоит мучить себя неразрешенными вопросами. Ведь и Бог, если Его поймешь, перестанет быть Богом. Мудрее рода не будешь. Жить надо просто. Род приказал нам смеяться и делать маленькие глупости. Как прекрасно — смех. Я, пожалуй, прилягу.

Устало ложусь на кровать. Приятно вытянуться, телу покойно, голова не болит. Буду думать о смешном — признак здоровья.

Гляжу на потолок и опять думаю — хорошо жить просто, не мудрствуя. Ну его к чорту, все эти ковыряния, сомнения, в конце-концов — ешь, люби и наслаждайся. Все эти терзания литераторы придумали.

Был у меня приятель. Добродушный, веселый, но с ямщицким размахом в жизни. Он прямо говорил:

— Не люблю я этих газетчиков да писателей, всю эту воображающую о себе братию с их фальшивой жизнью. Морды их видеть не могу!

Но книжки — читал.



Помню, плывем мы в лодке. Проскальзываем под деревом, отводя от себя свисающие ветви. Спрятались в зеленом шатре, а жизнь кажется мимо. Редкий удар веслом и лодка идет, разводя стеклянные складки на воде. Корма хлюпает, перешептывается с кем-то. В воде видны зеленые водоросли, они шевелятся, будто кто-то продирает их пятерней. Шныряют мальки, солнечные зайчики пробрались на дно и мелькают на гальках.

Я вытянул ноги, полулежу, глаза в небо. Хлюпает вода под кормой, качаются берега, на небе плывут безмолвные облака. Счастье вокруг. Качаться вот так,

раствориться в благости мира. Отречься от своей на-
 прасной мудрости, принять за благо не только жизнь,
 но и смерть.

Закрыв глаза. Мельница насилу ворочает крыль-
 ями. Ветер шевелит забытую на траве бумагу. Какой-то
 странник сидит, упершись лбом в колени. Утенок бе-
 жит по воде. Дохнул ветерок, он падает прямо с неба.

Чувствую — еще немного и на меня снизойдет
 истинная мудрость. Но слов не собрать, они разбега-
 ются, мелькают, как зайчики на дне реки. И пока ищу
 слова, принимаю решение — жизнь загремела пусто-
 той, как старая бочка, толчки, ухабы, и я сам станов-
 люсь недостойным.

**
*

Со временем я все научился принимать легче. Надо
 же как-нибудь да защищаться. Выработались навыки и
 приемы. Прежде всего — ничего не рассматривать под
 лупу. Когда видишь общее — спокойнее.

«Говорящий мудрые слова и сам становится муд-
 рым» — мне это помогло, жизнь у меня заговорила
 притчами.

Обида? Но она потому горька, что не имеешь си-
 лы отомстить. Несправедливость? Но ведь все равно,
 мы все умрем.

Мы как-то сидели и спорили. Воздух накалялся
 около нас. Кто-то читал нравоучение и это было от-
 вратительно, потому что он был глух. Другой из веж-
 ливости обещал невыполнимое, и мы чувствовали к
 нему неприязнь. Старик, ослабевший рассудком, над-
 менный, нищий и краснощекий прелюбодей. У меня
 болит голова. Мне хотелось, чтоб все они пали от
 острия моего меча, но вырвался только угрожающий
 крик:

— Почему вы возбраняете музыку!

Мне показалось, я становлюсь большим, мне тесно,

душно, я разметываю на небе звезды — они мешают мне выпрямиться.

Говорили, это был припадок помешательства — я выкрикивал бессвязные слова, пугавшие своей неожиданностью, да и весь припадок ничем внешне не был вызван. Нервный разряд, смерч, пронесшийся внезапно, выбросив и закрутив спрятанное в глубине.

Мне кажется, если человек слишком доверчиво и целиком отдается природе или чему-нибудь другому, не человеческим умом сотворенному, абсолютно правильному, и потом погружается в коридоры лжи, то возникает смерч.

После того случая — все делали вид, что забыли его совершенно — у меня обострилось чувство внутреннего раздвоения. Напрасно им пренебрегают. Я развил его до такой степени, что он и я, то есть все я или он, — поживя вместе, побеседовав, мы тогда и признали, что мы, в сущности, не существуем. Когда мы взглянули на мир с точки зрения нашего хозяина — Рода, то стало очевидно, что реален только Род, а личность — мелькающая тень, отражаемая зеркалами, поставленными друг против друга. Каждый человек, верящий в свою или чужую реальность, это котенок, бросающийся на тень.

Жить стало интересно и весело. Смерти не стало — в этом виде, духовном, личность бессмертна. Ведь весь Род создан для того, чтобы отчетом своего существования представить накопленную память, составленную для него нами, личностями.

Раб понравился своим умом господину. Мы почувствовали это, так как Род освободил нас от черной работы: унижительная жалость к себе самому, зависть, эгоцентризм — вся эта смердящая помойка, которую каждый день приходилось выносить.

В конце концов, внутреннее чувство, что Бог не

может быть несправедливым — оказалось правильным. Иногда только мы перемигивались:

— А зачем, собственно, нам с тобой нужно бессмертие?

**
*

Давно ушла вызванная нами тень моей жены, промчались миры, мы восходим на снежные вершины мысли, погружаемся в глубины — а в комнате все еще полумрак. Некоторое время сидим молча.

— Почему ты начал разоблачать любовь, выводить на чистую воду приемы Рода? — спрашиваю.

— Потому что вопрос размножения первый в плане устройства личности на земле. Любовь окружена тайной, лабиринтом чувств, у ней связь со всем бытием человека, сила ее невероятна. Это доказывает что Род опасался за этот пункт.

— Опасный пункт, это верно. Можно ловко выесть начинку, не трогая остальной конфеты. Стаскивать с крючка приманку, не затрагивая механизма ловушки.

Мы задумались о плане будущей книги, где нами будут показаны все пружины, заставляющие человека действовать именно так, как хочет Род. Мы требуем бумаги — надо писать эту книгу — но нам не дают.

— Послушай, — говорю, — ведь это унижительно: человек, в сущности, не имеет своей воли, во всем распоряжается Род!

— Думаешь ли ты, — отвечает он мне, — что женщина, отдаваясь мужчине, теряет свою волю, отрекается от нее? На самом деле это мужчина ее теряет, хотя и убежден в обратном. Ребенка-то получает женщина! Мы испытываем счастье, любовь, наслаждение, а вот Род...

Он не кончает: перелистывая наш альбом, я нашел один лист и протягиваю ему.

**
*

Мы идем пустыней. Мерное покачивание верблюда, нашедшего ритм вечной ходьбы, равнодушие его слишком выпуклых глаз, брезгливо отвисшая нижняя губа. Отмеренная поступь — как капли из неплотного крана падают одна за другой, доводя человека до дремоты. Безразличное лицо проводника-араба, его едва уловимая бесконечная песня — неразрешимая тоска на одной струне.

Красное, не знающее милосердия солнце и — пески, пески. Плавная линия валов, разбеги ветра на них в виде застывших волн, как свитки годов на рогах буйвола, желтый цвет кругом — эмблема солнца. Ни жизни, ни воды. Молчание.

Вечером на привале, я ложусь на кошму и гляжу в небо. Я не могу оторвать глаз от звезд. Долго гляжу, не понимая главного. Яркие, огромные, переливающиеся светила. Только теперь видно, что каждая звезда — мир. Ничтожество моей земли подавляет меня. Среди этих плавающих миров мне становится понятной великая тоска. Пыль земли слетает. Сладко понять свое ничтожество, тлен своего существования. В ужасе я ощущаю присутствие Бога.

И вдруг вздрагиваю: на горизонте огромное, невероятное, огненно-зеленое чудовище — луна. Она катится по небу, все время меняя свои очертания. В ней потрясающая сила, соблазн сумасшествия. Луна поднимается, и горы отбрасывают лиловую тень...

Истомленный, не могу заснуть. От луны я прита-

ился. Горение огромных звезд и дрожащий воздух пустыни.

**

Как мираж в пустыне, встает передо мною радость. Смутно, в тумане, без образа, только одно чувство. Оно целиком схватывает меня, поднимает и становится улыбкой. Может быть кому-то я неожиданное добро сделал? Пришел к обидчику мириться и он кинулся обнимать меня? Спас потерявшего надежду? Или мальчишка, тяжело поднимая взгляд от земли, вдруг любовно взглянул на меня, на лице робкая улыбка?

Не могу вспомнить радости, что-то очень хорошее. Бог, увидев это, надел ризу. И кто-то хмурый сказал:
— Ну, чего уж там...

И все засияло. В этой радости, до печали сладкой, слилось в одно: здоровое дыхание леса, мудрость пустыни, торжество мысли, признание любимой — все. Как будто все правды смешались, перепутались и из них получилась одна, многоцветная.

Один из апостолов, взволнованный таким чувством, когда-то сказал:

— Ум — мерзость перед Господом.

**

Дали свет, входит доктор.

— У, да мы сегодня совсем молодцом, — говорит, взглянув на меня, — если так пойдет, то скоро и бумагу вам дадим!

Окно стало агатовое, но в отделенной им темноте блестит звезда с длинным пером. Слышно, как на небе шелестит в полете луна. Около меня сидит Род в голубых седирах, как Бог Хронос, и ласково улыбается. Ему сказали, что здесь только что кончился великий спор.

И УСТРОИЛ ЗЕМЛЮ...

Где-то по дороге в гору с человеком случилось несчастье — к нему пристала корысть. Теперь, через тысячи лет, даже ребенку ясно, как это определило судьбу человечества. Тогда казалось — ничего, не так уж существенно, это пройдет. Но болезнь пускала корни все глубже, разветвлялась, иногда охватывала всю душу человека. Было ужасное время, когда все — любовь, вдохновение, молитва — все шло, отравленное этим ядом. Человек потерял себя и возненавидел брата своего. Не понимая откуда это — начал задыхаться от злобы. Она становилась все гуще. Не мало людей впало в отчаяние. Зараза охватила всех, она протягивала грязную руку к ребенку — не вырваться из этого круга и человек отворачивался даже от солнца. Ужасное, невероятное время.

Род пришел к людям, когда они растерялись от своей множественности. Род справился с организованной корыстью. Но где же счастье? — спрашивали люди, идя за Родом. Вернуть веру в человека было еще впереди.

Пренебрегая всем, я стремился к власти над природой. Забывая все мелочное, я самозабвенно погружался в раскрытие тайн мироздания. Моя гордость удовлетворена через меру и власть моя велика. Но мне мало, я стремлюсь увеличить ее еще больше и вывести за пределы земли. Я повторяю: чтоб быть счастливым, человек должен быть свободен от материи. Но остановлюсь ли я и тогда? Тайны мироздания раскры-

ваются одна за другой, но каждая тайна открывает другую, еще более непроницаемую. Я знаю — так будет без конца.

Пришло время и я, человек, почувствовал себя утомленным. Стремясь ввысь, я, оказывается, забыл о земле. У меня появляется гнетущая тоска, когда я думаю о простой, радостной жизни. Прошлые времена, когда ружье казалось страшным оружием, а скачка на лошади — головокружительной быстротой, мне кажутся блаженством.

С ужасом я ощутил ошибку — стремясь к тому и другому, я забыл о человеке. Чем более я богател, тем несчастнее становился заброшенный человек, — я, ты, он.

Миллионы раз Бог напоминал о счастье, посылая на землю ребенка. На короткий миг я радовался около него, но ребенок вырастал, а мне опять было некогда.

С ужасом вспоминаю корысть и закрываю лицо руками — стыдно. Неужели даже это могло владеть душой человека? Корысть делала свое страшное дело. Уже впали глаза, дрожат руки, неверная походка...

Но Бог бесконечно верил в человека.

Таков я, всесильный бог-человек, накануне Большой Жизни. Не моя вера в Бога, а Его в меня — грязного, лживого и порочного — спасла мир.

Даже тело свое я оставлял в пренебрежении. Нет, все надо начинать сначала. Все, решительно все, было неправильно. Что я наделал над собой! Какое безумство, какая слепота! Как я мог идти против всего, что окружало меня? Как хватило у меня дерзости порвать с матерью-природой, уйти в заплесневелые погребя?

А небо надо мной все так же молчало.

Так же безмолвно выполняла свое дело природа, не взирая на беснующегося перед ней человека. Человек срубал дерево, выросло другое. Вопрос только

времени. Все силы человека мгновенны, они ничто перед временем. И когда человек возвращался в покинутый им город, он видел это — мрамор дворцов на куски порван слабыми корнями травы, среди парадной залы шумит широкораскинувшийся дуб. Звери и птицы населяют этот бывший город, не думая о человеке. Змея устроила гнездо в сундуке с золотом. Покатилась звезда, из миллионов миллионов раз линия полета оказалась роковой для нас и — где наша планета, могущественнейший человек?



Несправедливость. Прошло, братья-люди, счастливое время, когда она встречалась как исключение. Успех и беда, счастье и горе сплошь и рядом посылаются теперь несправедливо. Одной семьей люди еще как-то разбирались, а умножились — голову теряют... Летит автомобилист по улице и судьба его зависит не столько от него, сколько от других, таких же как он сам. Собака вгрызается в палку, которой в нее тычут. Я же знаю — палка не причем, ее держит в руках кто-то и этот кто-то — множество мира, создавшее условия, когда личность ничто. Кто будет беречь пригоршню воды, стоя на берегу реки?

Ободряет воспоминание об одном знакомом милом старике. Невероятно, что он за свою жизнь страдал. А остался — светлый. Тюрьма, побои, война, раны, разорение, сейчас одинокий, дряхлый. Но какой же он светлый, Бог с ним. Много страдавшие люди — магнит для меня. Среди них бывают жесткие, суровые. Не верьте. Один такой при мне обмолвился чем-то нежным и покраснел, как ребенок — тут он себя и выдал.



Я не понимаю, как можно жить без любви к отчизне и дедине? Разве это хорошо? Нет, не может быть.

Что-то близкое, родное, волнующее, когда думаешь о своей земле. Может быть это и глупое, но милое счастье, от него невозможно отказаться. Оснеженные нивы родных полей, все эти люди, живущие со мной на одной земле, все, что душу мою облекает в русскую плоть...

**
*

Моя рука, каждая клетка моего тела, думается им, живут самостоятельно. Но ведь это я ими повелеваю. Что такое «я», где оно начинается? Но оно — есть. Я развиваю свои мускулы и как бы ни бунтовали клетки мозга — будет по-моему. Я высшее — я Род для своего тела.

**
*

Я верю: еще поворот, другой и перед людьми засверкает Большая Жизнь.

— Что такое Большая Жизнь? — спрашивает меня кто-то нетерпеливый.

Я задумался. И вдруг волнение охватило меня. Почти задыхаясь, тихо произношу:

— Большая Жизнь. Большая Жизнь, это... нежность!

И кругом стало тихо-тихо.

...Началось мое бредовое.

Лежу на дне лодки — она плывет по середине большой реки. Надо мною небо, я вглядываюсь в него и весь растворился в бездонной голубизне. Мне особенно хорошо, благостно, и я знаю почему: я очистил своего Бога, на нем ни малейшей тени сомнения, он блистает, вон как то облако. Еще вчера меня спросить:

— Веришь ты в милосердие Христа?

Я ответил бы:

— Верю.

Но только сейчас мне и понятно, что это «верю» где-то в самых сокровенных уголках сердца было от-

равлено сомнением, не смеющим показаться наружу. Сейчас, когда это в прошлом, я вижу, на вопрос о милосердии я мог бы спросить: где милосердие, когда человек корчится от невыносимой боли? Зачем смерть так горька и страшна? И зачем ты дал мне разум, который всю жизнь отравлял меня сознанием быстрой проходящести всего, неотвратимости смерти, поджигающих меня болезней и мук? Где милосердие в крови мучеников, в страданиях непорочных детей и даже в страдании бессловесной твари?

Много гневного и богохульного я мог бы сказать, но теперь мне светло — вера моя очищена, мне дано знать: мучившее меня надо обращать не к Богу, а к Роду. Теперь я знаю, почему Христос дал распять себя и испытал земные муки — чтоб все поняли: различайте Бога и Род! Даже Бога, если он станет Человеком, не минует воля Рода, устраивающего жизнь в борьбе всех жаждущих существовать. Только теперь я имею право сказать, что верю в милосердие Бога. Мне по новому открыто: Бог есть добро, только одно добро.

Покойно, молчаливо несутся передо мной облака. Небо объяло меня. Мне кажется, если сейчас я поднимусь и погляжу через борт лодки — река далеко внизу, я плыву по воздуху. В тихую радость погружен я.

Я очнулся от прикосновения к плечу — ко мне склонился озабоченный врач:

— Очень страдаете?

**
*

То, что в нас от Рода — беспощадно, жестоко. Видя это, говорят: человек с этим и родился, это его натура. Нет, он родился с инстинктом подчинения Роду, а не с его свойствами. Мои лопасти, ламуты, эски-

мосы и еще более близкие мне цыгане — разве они злопамятны, разве месть их религия?

Я понимаю неизбежность родовой, не человеческой морали. Но мне жалко слабого человека, как жалко ребенка, если у него нет матери. Жалко мечтателя, если ему не с кем поговорить. Жалко дедушку, если внуки не оказывают ему почтения и ласки. И я в отчаянии, когда вижу озлобленного человека.

Всему есть срок и судьба. Сейчас нас ведет Род. Поведет когда-нибудь и другое, или поведут они нас вместе. И как люди, страдавшие когда-то за Род, были призваны, так и страдающие за любовь будут обласканы и посажены за праздничный стол.

Род — это молодость, мускулы, кипение крови, несокрушимая воля, человек-победитель. Но Род это и оскал зубов, пята, попирающая цветы, сила, что не гнет, а ломает.

**
*

Перевести жизнь народа на родовую мораль, воспитать непреклонный, суровый характер, создавать бойцов. Если бы это не касалось меня — я согласен. Пусть будет так, если я остаюсь в стороне: жестокость и страх, закалка, суровые кары, беспощадная погоня к труду? Да.

Но я — живой, слабый человек. Передо мною слова-святыни: честность, открытая душа, любовь, справедливость. Против них стена: слово в слово повторяй, что скажет Род, хотя порой это для тебя не совсем так. Выше семьи, выше друга — Род. Род будет давать тебе уроки, как школьнику — ни вопросов, ни возражений. Переломи себя, смирись, проникнись интересами только Рода или ты погибнешь.

Все мы маленькие люди, поставлены в необходи-

мость думать сейчас о мировых вопросах. Задачу высшей математики стараемся разрешить арифметикой нашей интуиции. Мы песчинки. Все мои рассуждения это писк мыши, над которой проносится поезд.

**
*

Просыпаюсь не у себя в кровати, а на берегу моря, глухой ночью. Обдувает ветерок, волны у самых ног накатываются и с шелестом уползают назад. Но из-за спины этой волны выглядывает уже другая. Я хочу проследить серебряный путь светящейся дорожки на волнах, поднимаю глаза и вижу огромную тень, стоящую в море, недалеко от берега. Я очень мал в сравнении с этой тенью и я рассматриваю ее по частям.

Вижу отточенные резкие мускулы, блестящие на луне, широкие плечи и мощную грудь. Мне даже видно лицо красавца-великана. Он задумчиво смотрит в море и с кем-то спорит:

— Красота, по вашему, спасет мир? Нет. Красота вела эллинов и красота с невероятной силой владела человечеством средних веков. Она никого не спасла, она заводила в тупик, в пропасть. Вспомните — средние века были страшны.

— А может быть человечеству вообще не годится самодержавие одной лишь силы? — вырвалось у меня, и я замер от испуга: великан и — я.

Но великан не шелохнулся. Явственно слышу:

— Только один я, Род, сделал человека человеком. Я, Род, научил человека владеть силами природы, владеть над ней. Через меня человек получил невероятную силу. Я развил в людях волю, упорство, помог преодолеть страх. Я — Род.

Волны удивленно шепчутся, бормочут, шелестят. Рыбы прорвали ртутное зеркало вод и на глади волн

я вижу точки сонма высунувшихся морд. Охватывает сладкий ужас дерзновения: ведь только в миллион лет раз приходится говорить с воплощенным Родом — вдруг не напрасна моя смелость?

— Но почему, Род, — бормочу я дрожащими губами, — люди приходили к тебе, но все-таки и уходили от тебя?

— Земля была слишком велика для них. Они приходили пить из моего источника и, набравшись сил, уходили на привольные луга.

Красавец-великан поднялся и побежали волны. Одна добралась до меня, я откинулся и когда опять взглянул на море, передо мной из воды поднимается громада скалы.

**
*

Исполнились сроки прийти Роду на землю. Но почему он обосновался там, а не здесь? Как дальше сложится его царство? Захочет ли он всю землю? Воевать? — Но ведь он сам в себе источник силы и богатства.

Гляжу на то, что делают за чертой уделов Рода.

— Я гажу в ваши божницы, — слышу исступленный крик кого-то потерявшего себя, — ваше слово — бог, я отрываю его от понятия и имени. Я сам бог: для себя, через себя и вопреки себе. Я огонь, озарение, бунт. Вы — земля, память...

И кто-то плюется, проклиная:

— Любовь к женщине — игра кобеля в дэнди. Семья — собственность и порок. Дружба — собачья расчетливость. Венера — самка, скрывающая свое пищеварение.

Боже мой! — отшатываюсь я.

Как тяжела жизнь, лишенная солнца, как несправедливо тяжела! Трудно ворочаются камни, обдирая острыми углами сердце, камни злобы — худшее для человека. Как такой одинок. Хотелось бы подойти, искать примирения, но я встречу угрюмый сторожкий взгляд и новый взрыв непонятной мохнатой злобы. Стена.

Чудится мне степь, жаворонки, орел парит в воздухе — тень его бежит по траве. Чумак на возу, раскинувши руки и ноги, он погружен в лень, как муха в мед. Суслики, как собачка служит на задних лапках, обнюхивают воздух моржовыми мордочками. Цветы, ковыль, перекасти-поле, скрип арбы...

— Прекрасно! — вскакиваю я, пораженный новой мыслью, — но каждому свое: нож, чтоб резать, ружье — стрелять, музыка — услаждать, пляска — веселить.

— Ты, Род, — ударяю я себя в грудь, — ты все?

Я смеюсь. Смех — плата верная, я ощущаю себя сильным.

— Ты, Род, — издеваюсь я, — даешь силу и богатство людям. А кто даст любовь? Ты?

Я перегнулся от смеха. Вижу сильные мозолистые руки, слышу грубый голос, великан старается расставить на столе игрушки и они у него падают.

— Оставь! — ударяю его по руке.

**

Появился над людьми Род. «Всех вас давишь», — кричит. Род хочет дать нам свое, родовое счастье. Пусть. Но когда веришь в человека, то знаешь — человек скажет своему Роду: «Папаша, ведь тебе же выгодней, если я не буду одинокий». А то может сам Род устроит передышку, оглянется и скажет людям: «Ребята, вы же люди, а не просто человечина. Делай-

те мое дело, но мечтайте, любите, создавайте около себя тепло, пляшите, смейтесь, а дальше и подсказывать не буду — сами догадаетесь. А что я кому грудь орденами уже увесил, то это первая ступень, а дальше видно будет».

**
*

Ах, Боже мой, да я прекрасно понимаю, без Рода нам не жить, назад тащиться нельзя. Я знаю это.

Но вдруг мы отвыкнем от добра и всех радостей, что оно дает? Зачем дворец, если в нем живут черствые люди? Даже суровый боец на отдыхе отводит душу со щенком — милые, глупые глаза, широко расставленные лапы, нежное брюшко, холодный нос.

Я ни с кого воли не снимаю, я только за щенка, против недружбы...

О Г Л А В Л Е Н И Е:

ЦЫГАНЕ	Стр.
Первая кража	9
В таборе	17
Зимняя стоянка	27
В окопах	34
Розовая лошадка	41

Д Е Р Е В Н Я

Деревня	51
У станового	54
В школе	79
Ребята	67
Мужики	90
Рождество Твое... ..	97
Батюшка	123
Бывало на масленой... ..	128
На пасеке	133
На мельнице	139

Р А С С К А З Ы

Страшная книга	153
Мы жили с Вагнером	165
Лунные зовы	177
Рыбалка	183
Дедушка Дигби	187
Лес	195
Царство Власия	205
И сотворил мир	217
И устроил землю	227

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена \$2.00

